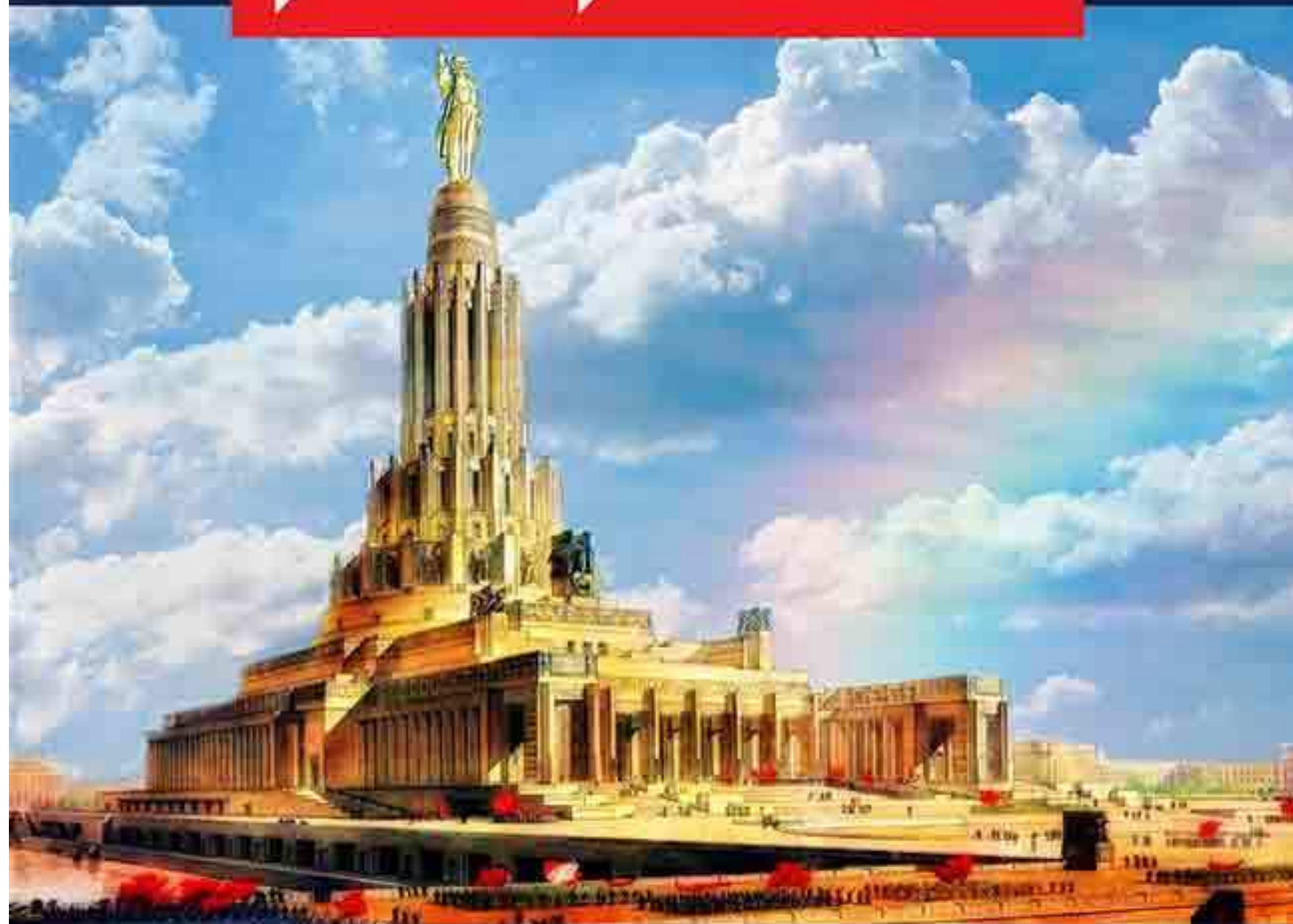


# Андрей Фурсов



**БОРЬБА ВОПРОСОВ**  
**ИДЕОЛОГИЯ И ПСИХОИСТОРИЯ**  
**РУССКОЕ И МИРОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ**

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Андрей Фурсов

**Борьба вопросов. Идеология  
и психоистория. Русское  
и мировое измерения**

«Книжный мир»

2020

**Фурсов А. И.**

Борьба вопросов. Идеология и психоистория. Русское и мировое измерения / А. И. Фурсов — «Книжный мир», 2020

ISBN 978-5-6043474-7-8

Столетие Великой Октябрьской социалистической революции не только заставляет нас оглянуться с интересом на «короткий» XX русский век (1917–1991), но и задуматься над тем, почему провалился великолепный социальный эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране – СССР. Был ли в корне неправ Маркс со своим пресловутым «Капиталом»? Или его задумка была верной, вот только подвели последователи-практики: Ленин, Троцкий, Сталин? А, может быть, коммунизм прошел отведенный ему Историей путь и скончался своею смертью – от внутренних противоречий? Или коммунистическое будущее человечества похоронили предатели, глупцы и маразматика в позднем советском руководстве? В новом издании книги кандидат исторических наук Андрей Фурсов дает ответы на эти вопросы. Ответы неутешительные, жесткие, честные, ставящие перед читателем новые вопросы: о будущем человечества и его, читателя, роли в свершающейся на наших глазах очередной передаче карт Истории. 2-е издание, дополненное

ISBN 978-5-6043474-7-8

© Фурсов А. И., 2020

© Книжный мир, 2020

# Содержание

Предисловие	5
«Биг Чарли», или О Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория	12
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Андрей Фурсов

## Борьба вопросов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения

*Посвящается столетию Октября и тем его деятелям, которые  
перевели мировую революцию на рельсы создания Красной империи*

### Предисловие

*Нам нравится эта работа – называть вещи своими именами.  
К. Маркс*

#### I

Старый мир стремительно рушится. Процесс, который начался гибелью/убийством СССР, на наших глазах вступил в финальную стадию. Разбалансировка мировой системы; ускорение социальных процессов; нарастание неопределённости; деградация властных и интеллектуальных элит в современном мире; разрушение государственности и архаизация целых регионов; кризис геокультуры Просвещения, прежде всего её «прогрессистского» сегмента – либерализма и марксизма; кризис христианства; подъём сатанизма; упадок Запада, превратившегося под ударами позднего, умирающего капитализма в постхристианский ПостЗапад; стремительное сокращение численности и снижение исторического качества белой расы; неспособность науки не только объяснить, но и описать текущие процессы и их причины, а образования – подготовить адекватных этим процессам учёных, аналитиков, социальных операторов; идейный кризис, т. е. кризис смыслов – всё это складывается в поистине апокалиптическую картину в духе Босха или Брейгеля-старшего. И вот что важно: в терминальный кризис мы вступаем, не будучи вооружёнными, во-первых, таким рациональным знанием, которое способно стать интеллектуальным оружием в борьбе за Будущее, внести причинно-следственную связь в хаотизирующийся мир; во-вторых, новыми смыслами, способными создать такой образ Будущего, который можно эффективно противопоставить уходящему миру с его цепями и силами, которые эти цепи выковали.

Новый мир построит тот, кто сформулирует новые смыслы, образ будущего, в соответствии с этими смыслами, создаёт оргструктуры (команды), которые способны реализовать всё это как программу и, в случае необходимости, сможет силовым, военным способом защитить и саму реализацию, и её результаты. Именно в такой последовательности: сначала победа в «метафизике» и только потом и на такой основе – победа в «физике». А это невозможно без идеологии, без высокой идейности. В Конституции РФ принципиально зафиксировано отсутствие идеологии. Что касается идейности, то здесь ситуация ещё хуже: подавляющая часть правящего слоя РФ абсолютно безыдейна, разумеется, если идейностью не считать стремление к власти, бабломанию и любовь к жизни в своё удовольствие, причём так, будто окружающего мира с миллионами бедных, разрушенной промышленностью и прочими «прелестями» постсоветской житухи не существует.

РФ – страна гигантского социального и экономического неравенства, вдобавок постоянно растущего. При этом верхушка, их дети не только не скрывают своего богатства, как это делает вышколенная в этом плане западная правящая элита, а выставляет напоказ в бедной, полунищей стране – из грязи в князи! «Попёршая наверх лабуда» должна всем показать, что: а) она – вылезла из грязи; б) она – не грязь; в) а все остальные – грязь. Результат – распадающиеся на неравные части общество, зреющие гроздьи социального гнева, отстранённость населения от власти. Пировать во время чумы – глупо и аморально, выставлять такой пир на всеобщее обозрение – верх идиотизма и полное отсутствие чувства самосохранения. Если кто-то надеется замирился с Западом на любых его условиях – например, вернуть Донбасс и Крым, то это крайне наивно. За Донбассом и Крымом последуют требования на Кубань, Калининградскую область, Курилы – далее везде. В современном мире слабых не просто быют – уничтожают.

Соединить распадающееся общество, помимо изменения социально-экономического курса, могла бы идеология. Но какая? Идеология формирует образ будущего, фиксирует средства его достижения в настоящем и создаёт пантеон достижений и героев для подражания и предмета гордости (прошлое). Как без идеологии ответить на вопрос: что мы строим? Капитализм? На какие средства? Западный капитализм строился на основе нещадной эксплуатации своего рабочего класса и колоний, а во второй половине XX в. и до сих пор – за счёт ограбления Третьего мира. У РФ есть колонии? Нет. Грабит она Третий мир? Нет. Значит остаётся грабёж собственного населения – и «идейная база» вроде бы подводится: Наина Ельцина уже предложила считать 1990-е годы не лихими, а святыми. Грабёж населения, «обувание лохов» как святое дело – чем не «идеология для кучки мародёров»? Боюсь только, народ с этим не согласится. Русские долго терпят – но не бесконечно. А потом – за дрекольем и без пощады.

Иными словами, провозглашение строительства капитализма как цели автоматически означает провозглашение грабежа и эксплуатации населения как средства достижения этой цели. И это не спрячешь за терминами «рыночная экономика», «свободная конкуренция» – дураков нет.

Далее. Из каких событий, достижений, из каких героев постсоветского периода можно составить пантеон? Грабительская приватизация? Дефолт 1998 года? Чеченская война? Ельцин? Чубайс? Абрамович? Даже не смешно. Практически всё, чем может гордиться постсоветская квазикапиталистическая РФ, справляющая свой экономический пикник на обочине капиталистической истории, на чём и за счёт чего она существует – это достижения социалистической державы, СССР, на руинах и в качестве самого крупного осколка которого возникла РФ, причём возникла в результате капитуляции и предательства – избавиться от этой печати без новой идеологии, которая назовёт вещи своими именами, невозможно.

Среди советских достижений – индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, «экономическое чудо» 1950-х годов, «Спутник» и Гагарин, уровень смертности 6–7 промилле в 1960-е, фантастические успехи в науке, образовании, культуре. Иными словами, создание такого задела, который мародёры, поливая грязью советское прошлое, проедают уже четверть века и до сих пор не проели, хотя, запасы, по-видимому, идут к концу.

Попытки создать новый пантеон, противопоставляя советским успехам, например Александра Невского или героиню Первой мировой войны, несерьёзны. Князь Александр – это было давно и несопоставимо по масштабам с СССР или РФ XX в. Вот если РФ скукожится до размеров Московского княжества времён внука Александра Ивана Калиты, тогда это годится. При всём героизме русского солдата в войне 1914–1917 гг. она не сопоставима с Великой Отечественной. В одном случае – империалистическая, в значительной степени – за чужой интерес и проигранная, в другом – не просто Отечественная, а победоносная Великая Отечественная. В результате Первой мировой войны Российская империя прекратила своё существование; в результате Великой Отечественной СССР стал сверхдержавой. Несопоставимы и

ставки: Вильгельм, в отличие от Гитлера, не собирался физически и метафизически уничтожить русских, стирая их из истории.

Выходит, что практически все важнейшие, знаковые достижения русской истории – результат советской, антикапиталистической эпохи. А какая страна РФ? Ясно какая: капиталистическая, а по риторике и пропаганде – антисоветская. Круг замкнулся. Правда, буквально в последние месяцы чуть-чуть, самую малость изменилась риторика президента по отношению к Сталину (и, кстати, к Ивану Грозному). Однако, во-первых, «чуть-чуть» – это слишком мало; во-вторых, президент – это ещё не весь правящий класс; в-третьих, впереди выборы, и главное лицо не может не реагировать на изменения в общественном сознании и настроении. А оно таково: согласно опросам, 62 % населения считают Сталина крупнейшим деятелем нашей истории со знаком «плюс», а в возрастной когорте 18–24 лет эта цифра 77 %! И это несмотря на три десятилетия антисталинской истерии и антисоветской чернухи. Иными словами, получилось так, как и предсказывал Сталин. Он говорил, что после его смерти на его могилу нанесут много грязи, но ветер Истории всю её разметет. Так и вышло, а десталинизаторы – у разбитого корыта. 77 % молодёжи – это и есть будущее.

Как тут не вспомнить приписываемую де Голлю фразу о том, что Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в будущем.

...Итак, с пантеоном патриотизма на основе дореволюционной России ничего не выходит. А как обстоит дело с самим патриотизмом? Не густо. Власть по этой части ничего предложить не может, достаточно вспомнить потуги по поводу «национальной идеи». Либералы – так называемые – и не только потому, что реальный либерализм скончался в Европе между 1910 и 1920 годами, а потому что «либерализм» гайдари-чубайсов и К<sup>о</sup> это просто обоснование грабежа и разрушения СССР/ РФ в интересах Запада и связанных с ним олигархов. К государственным патриотам тоже вопрос: о патриотизме по отношению к чему идёт речь? К государству олигархов? К государству – коллективному олигарху? Какая идеология предлагается? Постмодернистско-декадентская смесь коммунизма и православия, в которой на Сталина натягивают религиозные ризы? На мой взгляд, это не только глупость, но и дурновкусие. И уж сам Сталин, учившийся в семинарии и уважавший чужую веру, за такие фокусы по головке не погладил бы.

Есть ещё одна серьёзная проблема социального и идеологического порядка – русский вопрос. Статус русских, составляющих 80 % населения, не определён. И это при том, что, будучи многонациональной **страной**, РФ – мононациональное **государство**. Это так по всем международным стандартам, согласно которым государство является мононациональным, если доля той или иной нации в нём 67 %. Русских, повторю, – 80 %. А нам всё время пытаются впарить «многонациональный российский народ» или, того хуже, «российскую нацию». Это ещё одна попытка растворить русских в химере хотя бы де-юре.

Что за этим последует? Замена русского языка – на русский? Русской литературы – на российскую? Ведь очень хочется кому-то изгнать русскую историю, подменив её российской. Не так давно попытка провалилась (отложена?) протасовать закон о несуществующей «российской нации», с которым не согласятся не только русские, но также татары, лезгины, якуты и многие другие этносы.

То, что власть не фиксирует статус русских как государствообразующего народа; то, что 282-я статья известна как «русская статья», – всё это, безусловно, постараятся использовать геополитические противники исторической России. Ударить по России русским национализмом – это всегда было в их планах. Похоже, власти РФ, так же, как и СССР, испытывают определённый страх перед «русским вопросом», и до тех пор, как данный страх не уйдёт, пока в правовом и идеологическом плане не будет решён этот вопрос, он действительно может оказаться «Дамокловым мечом», который геополитические противники постараются использовать, указывая на то, сколько бедноты среди русских и – по контрасту – на национальную принадлеж-

ность богатейших людей РФ, на национальный состав правящего политико-экономического класса.

Русский вопрос – не единственная проблема, бумерангом возвращающаяся к власти. В организованном 12 июня этого года Навальным, а точнее – его кукловодами, несанкционированном митинге основная масса, и немалая, – это школьники старших классов, молодёжь. Многие из этих ребят пошли на митинг, поскольку искренне возмущены несправедливостью, неравенством, фальшью официальной пропаганды. Эти ребята, думаю, рано или поздно поймут или хотя бы почувствуют, кто такой Навальный и кто его дёргает за ниточки, тем более, что шулеры рано или поздно прокалываются и получают канделябрами по сусалам. Но были среди митингующих и другие – та часть молодого поколения, которую можно охарактеризовать как плохо образованных, не приученных самостоятельно думать (тесты этому не учат) егэизированных выюношей и девушек, которые сознательно воспитывались властью в качестве «квалифицированных потребителей» – без идеологии, без патриотизма, без творчества; всё это должно было заменить потребительство – как цель, идеал и средство. Ведь сказал же когда-то А. Фурсенко: пороком советской школы было то, что она стремилась воспитать творца, а наша (т. е. властей РФ) задача – воспитать квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами чужого труда.

Так и хочется спросить гражданина Фурсенко: ну что, Вы довольны? Готовы спеть «Tve gota wonderful feeling / Everything's going my way»? Вряд ли понимал Фурсенко тогда, когда ляпнул, и вряд ли дошло до него сейчас, что, по сути, упором на потребление он и ему подобные готовили могильщиков режима. Как? Очень просто. Потребительство – это прорва, у него нет пределов и ограничений, хочется всё больше и нового, причём такого, что уже имеют рекламирующие в инстаграмах и видеоблогах детки «илитки». Поставить барьер на пути «престижного» потребления, показав его суету и тщету, могут идеалистические ценности, патриотизм, умение рационально и логически мыслить, высокий уровень образованности. Но учили-то совсем другому. А социально-экономическая ситуация такова, что возможности роста уровня потребления и социальных лифтов его обеспечивающих, мягко говоря, невелики и уменьшаются – число бедных растёт; вчерашний бедняк стал нищим; середняк, «мидл» – бедняком, как в названиях романов Ирвина Шоу «Богач, бедняк», «Нищий, вор». Как будет относиться к власти молодёжь, которую эта власть вскармливала как потребителя и не смогла это обеспечить?

Узость мышления, неумение считать варианты более, чем на ход вперёд – вот что губит тех, кто по случаю, дуриком дорвался до власти, кого вынесло, а не **привели**, готовя заранее. Поэтому нередко нувориши от власти, эти «припадочные люди» («припадок» на русском языке XVIII в. – это «случай»; «припадочный человек» – «случайный человек») будят такое лихо, о существовании которого не знают – не положено, а если бы им даже сообщили, то не поверили бы в силу гешефтно-коммерческого и вульгарно-материалистического понимания жизни. Ведь как одномерные существа воспринимают шар? Как точку или, в лучшем случае, как несколько точек. И всё.

В советские времена руководители страны имели неосторожность вписать в принятую на XXII съезде КПСС (1961 г.) фразу о том, что одна из главных задач КПСС – способствовать удовлетворению растущих материальных потребностей советских граждан. Дело даже не в том, что это – не задача КПСС, а в лучшем случае – правительства. Дело в том, что, во-первых, КПСС «на одну доску» с высокими идеалистическими и стратегическими целями поставила повседневно-материальные, бытовые задачи, резко снижая планку. Во-вторых, создать социалистический вариант общества потребления в тех условиях было практически невозможно – а вот свои растущие (и ещё как!) материальные потребности верхушка советского общества вполне удовлетворяла, в том числе на Западе. И население это видело и знало, что и стало одним из факторов подрыва легитимности Системы.

В РФ в течение четверти века растили людей, ориентированных на потребление, а не на высокое. И теперь та часть молодёжи, которая это усвоила, впитала, предъявляет власти свои потреблятские претензии. А негодяи это активно используют. В сложном положении оказалась власть: без идеологии, без образа будущего, без решения русского вопроса, с массой недовольных. Кто недоволен? Вульгарно-материалистическая часть общества, которая недопотребляла. Та часть общества, особенно молодёжь, которой вопреки потреблятельству, «за державу обидно» и которую неравенство бесит в принципе (отсюда – поворот в сторону Сталина и его эпохи, которая стремилась к социальному равенству, эпохи внешнеполитического могущества и побед и социального равенства). Та часть «илитки», которая готова замирииться с Западом на любых условиях.

Прекрасно известно, что смертельная опасность для любого режима – это не просто улица, а её соединение с частью элиты, а этой последней – с внешними силами. Франция в 1789-м, Россия в 1917-м и СССР в 1989–1991 годах продемонстрировали это со всей ясностью. Это – вдвойне опасность для без- (и вне-) идеологичной власти, и рассчитывать на силовое решение вопроса, на диковатые дивизии с гор – ошибка. События нашей истории показывают: при первой же крови силовые структуры останавливаются – они парализуются страхом перед ответственностью. О диких дивизиях – помогла одна такая Николаю II?

## II

Разумеется, идеология не может решить все проблемы, но она может наметить пути их решения, ясно указать цель и средства её достижения. Именно поэтому в истории борьба идей, борьба вопросов всегда играла важнейшую роль – вопросов о сути бытия, о добре и зле, о справедливости и справедливом устройстве общества. С оформлением в первой половине XIX в. идеологии как особого феномена, особой формы организации идей по-новому развернулась борьба за будущее. На вопросы о сути и путях его достижения разные ответы давали консерватизм, либерализм и марксизм. Последний, на мой взгляд, наиболее интересен, поскольку, в отличие от либерализма и консерватизма, представляет собой ещё и научную программу. В основе этой программы лежит теория Маркса, вовсе не тождественная марксизму, над развитием (и «развитием») которого поработали и Энгельс, и Каутский, и советские вульгаризаторы вкупе с западными.

При всём отличии марксизма и либерализма у них было нечто общее, в частности – вера в прогресс и обусловленный этой верой взгляд на незападные общества, будь то Россия, Индия или Китай. Достаточно пробежать статью Маркса «Британское владычество в Индии», чтобы уяснить: это – панегирик буржуазии и буржуазному строю. В то же время, оказавшись соучастником властно-идейной (в фукоистском смысле *savoir-pouvoir*, т. е. власть-знание, властезнание) операции «прогресс», Маркс своими работами об «азиатском» способе производства (АСП) заложил мину замедленного действия под реализацию другой операции западного власть-знания – под «ориентализм».

В России XIX в. главными вопросами, по поводу которых кипели страсти и велась борьба, были «что делать» и «кто виноват?». Ну и, разумеется, «что такое Россия?» (вариант: «что такое русская душа?»). Эти споры вела российская интеллигенция – слой весьма специфический, комбинирующий крайний социальный нарциссизм с социальными же комплексами неполноценности.

Призывавшая революцию российская интеллигенция была этой революцией раздавлена. В советском обществе нишу, эквивалентную интеллигенции, заняла «советская интеллигенция» – могильщик российской, косящий под её наследника. Как и определённая часть российской интеллигенции, определённая часть совинтеллигенции, мягко говоря, не любила советскую власть (именовала её «Софьей Власьевной»), с руки которой и кормилась. В перестройку

значительная часть этого слоя активно призывала к разрушению социализма и оказалась погребена под его развалинами. Правда, погребены оказались не все, очень небольшой процент пошёл в службу новых хозяев, превратившись в «культур-буржуазию», точнее, в «культур-мульти-буржуазию», в эдаких плохишей от интеллектухи при новых буржуинах. Ну а многие «борцы с тоталитаризмом» вылетели в маргиналы, как говорится, «за что боролись...».

После 1991 г. довольно быстро выяснилось, что мир «прогрессоров», которых воспели любимцы либеральной совинтеллигенции Стругацкие, обернулся ликом гайдари-чубайсо-ельцинских регрессоров, а их прогресс – мерилом регресса и упадка России: привет «Полдню XXII века». Нынешняя «идейная» ситуация весьма специфична – она зеркально отражает социальную ситуацию, и «неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Новые системы идей не возникают в кабинетах – они там в лучшем случае оформляются, а возгорают они из пламени социальных битв, как это происходило с возникновением христианства в первые века н. э. и феномена идеологии в «эпоху революций» 1789–1848 гг.

### III

Настоящий сборник посвящён острым идеологическим вопросам Современности как эпохи (1789–1991 гг.) и наших дней. Практически все они так или иначе относятся к сфере психоисторической борьбы, психоистории. Сборник открывается книгой и закрывается книгой. Одна из них – о Марксе и марксизме – написана почти два десятилетия назад; другую я подготовил специально для настоящего сборника в июле сего года. Между двумя книгами – 14 статей, написанных в различное время. Их и обе книги можно сгруппировать в пять блоков: идеология; наука; образование; интеллигенция и интеллектуалы; проблемы русской истории (Российская империя, СССР, РФ) сквозь призму идеологии и борьбы идей – идеология и борьба идей сквозь русскую призму.

Если говорить о работах, написанных ранее, то могу сказать: кое-что я переосмыслил, есть вещи, на которые я смотрю иначе и сегодня написал бы о них по-другому. Однако, я не стал ничего менять в текстах. Во-первых, почти все переосмысления (переосмысленности) не носят или почти не носят радикального характера. Во-вторых, читателю предоставляется возможность самому продумать возможные продолжения на манер разбора шахматных партий. «Итак, Сизиф, марш снова в Гору» – так любил говорить мой незабвенный учитель Владимир Васильевич Крылов, предлагая мне решить очередную задачу в области социальной теории. Приглашаю и читателя «посизифствовать» вместе со мной – а вдруг мы выскочим из сизифовой ловушки «проклятых вопросов»? Должны выскочить. Как говорил главный герой фильма «В бой идут одни старики»: «Не могём, а можем». В любом случае нам не честь-похвала пасовать перед «проклятыми вопросами» и уклоняться от борьбы с ними и за них.

И ещё одно предупреждение читателю. Поскольку работы написаны в разное время, какие-то части из более ранних работ попадали в более поздние. Отсюда – неизбежные повторы. Я не стал вымарывать их из статей, поскольку этот нарушило бы стройность, логичность и завершённость текстов. Поэтому если читатель столкнётся с тем, что покажется ему ненужным повтором, он может спокойно его пропустить и, если всё и так понятно, двигаться дальше.

Я неоднократно говорил, что не стоит преувеличивать роль идей, ценностей и идеологии в массовых процессах самих по себе. Однако будучи вброшены в эти процессы, идеи, ценности и идеология из информации превращаются в социальную энергию, которая, «овеществившись» в людских телах, бросает их на копья, под пули, на амбразуру. Кадры решают всё, говорил Иосиф Виссарионович; всё – это и есть все вопросы. Но кадры – не массы, и вот на этом уровне роль идей, борьбы вопросов и смыслов огромна. А потому победа в борьбе вопро-

сов зачастую определяет исход вопросов борьбы. Наша Борьба – за Будущее – детей, внуков, Родины.

## **«Биг Чарли», или О Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория (К 180-летию со дня рождения К. Маркса)<sup>1</sup>**

### **1. «Бит Чарли» – непобедитель, получивший все?**

Карл Маркс. Марксизм. Марксизм-ленинизм.

Еще пятнадцать лет назад без этих слов невозможно было представить нашу жизнь. Они пронизывали ее, врываясь со страниц газет, книг, учебников, названий улиц, портретов, транспарантов, лозунгов. Они были фоном нашей жизни – как красный цвет. Но вот минуло полтора десятилетия – и будто не было. Произошло очередное в нашей истории отречение от старого мира, причем первыми от этого «марксистско-ленинского мира» отреклись, как и положено, его апостолы – кто отрекся, а кто и продал, как Иуда.

В любом случае Маркс и марксизм (о Ленине разговор особый) – ныне это для большевиков прошлое. *Sic transit gloria mundi*. По крайней мере, так *gloria transit* в России, где одно из основных качеств народа, популяции – забывать. Забывать события и структуры нашей истории, прежних героев и злодеев – не только давних, но и буквально вчерашних. Так произошло и с Марксом. Ну что же, может, оно и к лучшему. По крайней мере, в том смысле, что теперь, когда утихла брань, перекрывшая прежний восторг, можно в условиях относительного спокойствия, на дистанции – пока еще довольно короткой, но все же дистанции, а следовательно, дистанцированно, отстраненно начать разбираться, что такое марксизм как социальная теория и идеология, что такое «марксизм-ленинизм», «марксистско-ленинская идеология» и т. д.? Каково место, роль и значение этих явлений и самого Маркса в XX в., в Современности (*Modernity* – 1789–1991 гг.), в Капиталистической Системе, в Европейской цивилизации.

Кто-то может сказать: а не слишком ли широкомасштабно, высоко и круто? Не слишком. Кого можно поставить рядом с Марксом – по значимости, по степени влияния на события, на ход истории? Начнем с XX в.

Обычно в книгах и альбомах, посвященных XIX в., портрет Маркса – в первой пятерке. Пятерка чаще всего выглядит так: Наполеон, королева Виктория, Дарвин, Маркс, Бисмарк. Люди, конечно, знаковые и в этом смысле очень достойные. И все же. Наполеон – это не столько сам XIX в., сколько вход в него (1789–1815 гг.). Значение Наполеона, хотя он увенчал Великую Французскую революцию и придал ей экспортную форму, хотя он и попытался, как заметил Ф. Фехер, провести социальный эксперимент – создать гражданское общество без демократии, т. е. первый авторитарный режим в строгом смысле слова, все же в целом не выходит за рамки XIX в., ограничивается им. Сама форма авторитарности – бонапартизм – была очевидно девятнадцативековой. Более того, будучи обращен к XIX в. и в XIX в. как бонапартист и «экспортер революции», в других важных отношениях Наполеон был обращен в сторону XVIII в., спиной к XIX. Одно из ключевых слов XIX в. – «идеология». Но именно идеологию и идеологов не жаловал Наполеон. Нет, скорее он венчал предшествующую XIX в. эпоху – как Гегель, Гёте, Бетховен и наш Пушкин, чем начинал новую, скорее писал эпилог к XVIII в. и пролог к XIX в.

Еще более ограничено значение королевы Виктории. Это ультрадевятнадцатый век. И хотя правила она с 1837 аж до 1901 г., т. е. захватив почти всю эпоху пика британской гегемонии (1815–1871) и значительную часть преимущественного доминирования «туманного Аль-

---

<sup>1</sup> Опубликовано в: Русский исторический журнал. М., 1998. Т. I, № 2. С. 335–429.

биона» (1871–1914), «въехала» в первый год XX столетия; викторианская эпоха – это 1840-е -1860-е годы. С 1870-х годов начинается новая эпоха, если не отрицающая «викторианский век», то, по крайней мере, существенно отличающаяся от него. Это – эпоха Бисмарка. Вот этот человек, безусловно, пережил свое время – последнюю треть XIX в. И хотя незадолго до смерти, осматривая гамбургские верфи, он несколько раз проговорил, что перед ним другой, совершенно другой мир, через «длинные двадцатые» (1914–1934 гг.), он тянется к «Третьему рейху», хотя, конечно, второсортным политикам из «Веймар и К<sup>о</sup>» и закомплексованным вождям рейха далеко до «железного канцлера».

Чарлз Дарвин. Человек, которому Маркс хотел посвятить «Капитал». Он тоже немного «вылезает» из «короба» XIX в. Но, на мой взгляд, очень немного.

Что касается Карла Маркса, то, оказавшись во многих отношениях квинтэссенцией фигурой XIX в., он не только протянулся в XX в. дальше всех своих «коллег по великости» – по сути, до 1960-1970-х годов («молодежная революция» в 1968–1970 гг. в Первом мире, иранская революция 1979–1980 гг. в Третьем мире). Более того, в XX в. его «знаковое присутствие» на десятилетия больше, чем в XIX (1848–1950)!

Дело, однако, не только в количестве, но и в качестве, в многогранности. Я имею в виду следующее: Дарвин – это сфера биологии, научного мировоззрения в целом, некоторое влияние на социальные идеи (общественная жизнь как борьба за существование). Наполеон и Бисмарк – политика и война, хотя Наполеон – революционер и универсалист, а Бисмарк – контрреволюционер и националист. Виктория – это тоже политика, хотя скорее символически, чем реально. Реальную политику делали другие – Дизраэли, Гладстон.

Маркс... это почти все. Это идеология, это политика, это социальное движение, бунт, это наука и научное мировоззрение, это революция. И, конечно же, символ, знак, который в своих знаковости и символичности оказался намного сильнее Виктории, а также Наполеона, Дарвина и Бисмарка, возможно даже вместе взятых: никто из них **так** не попал в XX в.; никто из них не стал **так** известен за пределами Европы. Все люди, о которых шла речь, были европейцами, и их историческое значение не вышло за рамки Европы. Маркс был первым европейцем современной (modern) эпохи (1789–1991 гг.), чье значение имело не только общеевропейский, но и общемировой или, как любят говорить теперь, глобальный характер. Правда, мне больше нравится слово «всемирный», оно менее специфично, чем «глобальный», а потому в данном контексте более уместно. Можно сказать, что Маркс как фигура и «знак» родился одновременно с всемирной историей. Всемирная история, писал сам Маркс, существовала не всегда, она возникла в самой середине XIX в. Точнее, это было начало ее рождения. Само рождение заняло двадцать бурных лет – «длинные пятидесятые», 1848–1867 гг. Это двадцатилетие, началось «Манифестом Коммунистической партии» и революцией 1848 г. в Европе и окончилось реставрацией Мэйдзи в Японии и «Капиталом».

В XX в. с Марксом по глобальности, всемирности значения и значимости, может конкурировать только Ленин. Но Ленин – это, как, например, Фрейд или Эйнштейн, XX в., и только XX в. Маркс же – это и XX в., и век XIX. Это Современность в целом. Или, по крайней мере, большая ее часть.

Конечно, помимо известного за пределами Европы и России во всем мире Ленина можно вспомнить еще двух русских – Толстого и Достоевского. К тому же, начав в XIX в., они, в отличие, например, от Бальзака и Диккенса, шагнули в XX в. и во многих отношениях обусловили его, а следовательно, и Современность в целом. Но обусловили в гораздо более узкой, чем Ленин и тем более Маркс, сфере – литературе. Можно вспомнить и Ницше, оказавшего большое влияние на XX век, но влияние это оканчивается европейской зоной. Нет, Маркс все же суперчемпион. И не только по линии двух последних веков по отдельности и вместе взятых.

Маркс – отец-основатель научного антикапитализма и в этом смысле – ключевая фигура всей капиталистической эпохи, всей истории Капиталистической Системы. В капиталистиче-

ской системе марксизм как идеология занимает нишу, эквивалентную той, которую сначала в Римской империи, а затем в Европейской цивилизации, в субъектном потоке исторического развития<sup>2</sup> занимало христианство. Думаю, что в последние полтора века в христианском мире Маркс – вторая по значению и известности фигура после Христа. Если же говорить о нехристианском мире, то, думаю, здесь известность и значение Маркса как фигуры и знака не уступает или почти не уступает в XX в. Христу (подчеркиваю: сравниваю не личности – фигуры и «знаки»). В пользу подобного сопоставления и сравнения высказывается и Б. де Жувенель. Отличая решающую роль Маркса в развитии европейского массового сознания последних трехсот лет, он пишет, что аналогом мощнейшему посмертному существованию Маркса являются только основатели великих религий<sup>3</sup>.

Несколько снижая планку, установленную для Маркса де Жувенелем, Д'Амико пишет, что именно Маркс находится у истоков современных представлений о том, что такое общество, именно он задал новые направления для социальных исследований<sup>4</sup>.

Как знать, не замыкает ли Карл из Трира линию универалистских пророков, чертить которую начал Иисус из Назарета. «Бородатый Чарли» с его мефистофелевской копной волос и почти демонической внешностью<sup>5</sup> как последний пророк – не слишком ли это? Но ведь даже антихрист – это Христос со знаком минус. К тому же под определенным углом зрения Маркса отделяют от Христа всего лишь несколько сантиметров: Христос указывал на сердце и говорил, что все там и все оттуда. Маркс переместил перст на десяток сантиметров и возразил: нет, все здесь и отсюда – из желудка. Не является ли марксизм в этом смысле ожелудочиванием христианства и человека? Это далеко не худший вариант, поскольку Фрейд сместил «центр тяжести» еще на сколько-то сантиметров вниз, генитализировав человека. Шутки шутками, но Маркс, кажется, действительно самый известный европеец. Или, по крайней мере, был им в течение почти ста пятидесяти лет. Хотя в какой-то миг XX века с серьезным «Большим бородатым Чарли» по известности мог соперничать смешной «Маленький Чарли» с усиками (вплоть до того, что вьетнамская секта, «религиозно-политическая машина» Као Дай ввела Чаплина в пантеон своих святых). Забавная пара. Почти по Галичу:

*Покойник пел, а я играю,  
Могли б составить с ним дуэт.*

Конечно, Маркс, этот бородатый витальный еврей-выкрест из Трира, стремящийся изжить, преодолеть свое еврейство как социокультурную характеристику, был неприятным субъектом: конфликтный, злобноругучий, тщеславный, интриган (впрочем, не очень успешный). Все так. Однако – гений, гении часто неприятны, каждое приобретение есть потеря. Одна из центральных фигур XIX в., Современности, Капиталистической эпохи (и **мировой** капиталистической системы), Европейской цивилизации как христианской.

Но почему? Ведь Маркс не преуспел во многих своих ипостасях, в каких-то просто проиграл, провалился, не вышел победителем. Непобедитель получает все? Как так?

Действительно, в качестве политика Маркс провалился. «Интернационал» не сработал, и выходец из Трира так и не стал Карлом Великим международного рабочего движения. А ведь хотелось. И как хотелось.

Не сбылось.

<sup>2</sup> См.: Фурсов А.И. Капитализм в рамках антиномии «Восток – Запад»: проблемы теории // Капитализм на Востоке во второй половине XX в. – М.: Изд. фирма «Восток, литература», 1995. – С.82-104.

<sup>3</sup> Jouvenel B. de. Marx et Engels: La longue marche. – P.: Julliard, 1983. – R12.

<sup>4</sup> D'Amico R. Marx a. philosophy of culture. – Gainesville: Univ. press of Florida, 1981. – R16.

<sup>5</sup> На демоническое во внешности и личности Маркса указывают многие. См. напр.: Levenstein I.J. Marx against marxism. – L. etc.: Routledge a. Kegan Paul, 1980. – P. 96–97.

К тому же и репутация Маркса по ходу борьбы за власть в «интернационалке» оказалась подмоченной. Это была работа главным образом русских – Бакунина, Герцена, которых Маркс ненавидел и в борьбе с которыми средств не выбирал. Марксу мало было игры – интеллектуальной, игры, приносящей удовлетворение интеллектуалу. Ему хотелось – Власти. Похоже, она завораживала его, подобно тому, как Кольцо – «Precious» – завораживало толкиеновского Голлума. Во многих отношениях Маркс был замороженным странником власти, и это рикошетом ударило по его идеям, теориям, их качеству, г. Манн писал, что Маркс – это первоклассный автор, который втиснул свой ум в одну узкую колею и всю мировую историю хотел запихнуть в эту колею, которой следовал его ум<sup>6</sup>. А ум следовал за желанием.

...Хочу быть вождем – пророком мировой революции, мессией пролетариата. Поэтому великая пролетарская революция, которая радикально изменит мир, должна произойти. Я хочу изменить мир, прежние философы только описывали его, теперь пришла пора изменить. Революция не может не произойти. И не только потому, что Я хочу этого, а по объективным Законам Истории, открытым мной. Логика капитализма и наличие феномена буржуазных революций – вот два фактора, единство и противоречие которых гарантирует искру пролетарской революции, ее победу и создание мирового правительства. Во главе с лидером мирового пролетариата...

Так или примерно так, сознательно и (или) подсознательно (привет от еще одного еврейского пророка и научного мифотворца, не очень уж сильно разминувшегося с Марксом хроноисторически) мог рассуждать доктор Маркс, вступивший в союз с Дьяволом Истории – Разрушением, Раздором, поставившим на него<sup>7</sup>.

Личностная (для Маркса), а не только логическая (теоретико-историческая) необходимость революции, придававшая смысл жизни трирца и, по-видимому, многое компенсировавшая в этой личности, требовала научного обоснования мифа, порожденного Великой Французской революцией, требовала научного мифа. По иронии истории **научный** революционно-капиталистический **миф** Маркса появился тогда, когда условия, породившие **социальный миф**, исчезли. Наука, сциентизм у Маркса заменили реальность и функционально стали мифом.

Разумеется, всякий миф, даже научный, искажает реальность. Или заставляет искажать, что еще хуже. Он заставляет нарушать логику собственной теории, принося ее в жертву «человеческому, слишком человеческому», – ведь писал же Маркс, что ничто человеческое ему не чуждо. Результат? Например, появление в работах Маркса концепции «буржуазной революции» (как предшественницы, предтечи революции пролетарской), которая, как убедительно показал Дж. Комнинел<sup>8</sup>, нарушает логику Маркса в подходе к буржуазной реальности, не вписывается в эту логику, по сути – концепция некритически заимствована им по политическим причинам у либеральной мысли.

Примеры нарушения собственной логики как возмездия за погоню за мифом – социальным и личным – можно множить, однако здесь в этом нет нужды. Ясно одно: обуживание, зауживание мысли приводит к плохим результатам – и тем худшим, чем мощнее мысль. А ведь Марксу приходилось зауживать себя не только по политическим причинам, но и, так сказать, по интеллектуально-коммуникативным.

Итак, революция, о необходимости которой все время после 1848 г. говорил Маркс, не произошла, а ведь на 1849 г. он предрекал – ни много, ни мало – восстание французских пролетариев и мировую войну! Wishful thinking. Та революция, что произошла, – Парижская ком-

<sup>6</sup> Mann G. The history of Germany since 1789. – N.Y. etc.: Praeger, 1968. – P.82.

<sup>7</sup> Как заметил Д.Феликс, Маркс стал революционером «еще до того, как написал определение своей революции и обнаружил соратников-революционеров» (Felix D. Marx as politician. – Carbon dale etc.: Southern Illinois Univ. press, 1983. – P.18.).

<sup>8</sup> Comninell J. Rethinking the French revolution: Marxism a the revisionist challenge. – L., N.Y.: Verso, 1987. – XIV, 225.

муна, удручила и испугала: парижские пролетарии и люмпен-пролетарии улыбнулись смертельной улыбкой, и доктор Маркс напугался<sup>9</sup>.

Рабочий класс Европы обманул герра доктора, оказавшись не столь революционным и вполне успешно интегрировавшимся, вписывающимся в буржуазное общество – то самое, могильщиком которого предписали ему быть своим «Манифестом» «ученые товарищи Маркс и Энгельс». Пророчества Маркса не сбылись. В XIX в. не сбылись. А в XX – сбылись. Или, точнее, *показалось*, что сбылись – спасибо ученым товарищам Ленину и Троцкому – в России в 1917 г. После этого Маркс-пророк начал триумфальное шествие как сам по себе, так и на советских танках по дорогам Европы, пешком по долинам и взгорьям Китая, джунглям Вьетнама и т. д., пока не «налетел» на французских студентов, Че Гевару и аятоллу Хомейни.

И все же репутация пророка не была тесно связана с самими пророчествами Маркса. Ленины и Троцкие побеждали не в соответствии с логикой и пророчествами Маркса, а во многом вопреки им. А выглядело, будто в соответствии с ними. На таком фоне забывались, казались неважными и многие ошибочные прогнозы и суждения Маркса. Как тут не вспомнить замечание Г. Манна о том, что Маркс был эффективен и до сих пор остается таким, хотя его работа принесла не те результаты, которые он обещал<sup>10</sup>.

Маркс-философ? У Маркса, безусловно, была некая философия. Но можно ли назвать его философом? Спорный вопрос. Думаю, в целом удачно ответил на него Р. Хейлброунер, отметивший, что хотя марксизм – не философия, Маркс – не философ, но у его системы, бесспорно, есть философские основания<sup>11</sup>. Осмысление социальной действительности с философских позиций – так охарактеризовал подход Маркса Э. Гулднер в своей книге «Два марксизма» (1980). Обо всем этом можно спорить. Однако, бесспорно, что Маркс не создал новой философии. Правда, после Гегеля философия в строгом смысле слова, пожалуй, действительно могла развиваться лишь по пути Шопенгауэра и Ницше – подобно тому, как, например, действительным развитием живописи после изобретения дагерротипа мог быть, пожалуй, лишь импрессионизм. Наследники философии (включая гегелевскую) по прямой оказались эпигонами и имитаторами. Маркс избежал этого. И все же он не стал философом. Точнее: избежал, потому что не стал.

Как экономист Маркс во многом устарел уже к концу XIX в., что неудивительно: экономически «мир Маркса» перестал существовать к концу XIX в. И уже Бем-Баверк, этот «австрийский Маркс», убедительно критиковал различные аспекты теории Маркса. Критиковали и другие. Критиковали по-разному и за разное. В том числе и за трудовую теорию стоимости. Необходимо признать, что, несмотря на эрудированность, прежде всего в экономической (политико-экономической) области, Маркс оказался наиболее уязвим (и наименее интересен) именно как профессиональный экономист. Прав Ж. Бодрийяр, считающий, что Маркс так и не смог довести до конца критику классической политэкономии<sup>12</sup>, хотя связано это не только с экономической теорией Маркса. Впрочем, в слабости Маркса как экономиста я готов усмотреть и его силу, или, скажем так, эта слабость в качестве профессионального экономиста есть проявление силы Маркса, того главного в нем, в его теории, что делает его интересным и перспективным и в наши дни.

Я рад, что не один так думаю, а в хорошей компании, например, с Й. Шумпетером, чью точку зрения по причине ее афористичности имеет смысл привести на языке оригинала. Назвав

<sup>9</sup> Т. Шанин даже полагает, что опыт Парижской коммуны, наряду с некоторыми другими факторами, включая изучение России, привел Маркса к существенному пересмотру, реконструкции его теории. Подр. см.: Late Marx a. the Russian road: Marx a. the peripheries of capitalism / A case prepared by T. Shanin (ed.). -L. etc.: RKP, 1983. – X, 286 p.

<sup>10</sup> Mann G. Op.cit. – P.82.

<sup>11</sup> Heilbroner R. Marxism: for and against. – N.Y., L.: Norton, 1980. -P.36.

<sup>12</sup> Подр. см.: Baudrillard J. Pour une critique de l'economie politique du signe. – P.: Gallimard, 1972.

Маркса гением и пророком, Шумпетер заметил: «*Geniuses and prophets do not usually excel in professional learning, and their originality; if any, is often clue precisely to the fact that they do not*»<sup>13</sup>.

В другой работе Шумпетер прямо говорит о том, что для него самое важное не качество экономических исследований Маркса как узкого **специалиста**, а его общая проницательность как **человека, мыслителя**; не столько сам экономический анализ и его результаты, сколько преданалитический познавательный акт<sup>14</sup>.

Преданалитический акт – это, прежде всего, общий метод, теоретический подход, общая, а не специализированно-экономическая, а социально-историческая теория – разумеется, у кого она есть. У Маркса была, и уже это хороший ответ тем, кто обвиняет его в экономцентризме и экономдетерминизме. Маркс довольно рано понял, что экономическая теория сама по себе не может объяснить долгосрочного экономического развития, как сказали бы теперь, экономического развития в *longue duree*; *long run economics* должна обладать историческим измерением, т. е. должна быть элементом более широкой и качественно более сложной и многомерной теории, чем экономика с ее одномерным *homo oeconomicus*. Как заметил все тот же Шумпетер, среди первоклассных экономистов Маркс был первым, кто понял, как можно превратить экономическую теорию в исторический анализ «и как исторический нарратив можно превратить в *histoire raisonnee*... Это также отвечает на вопрос... насколько экономическая теория Маркса увенчалась успехом в реализации его социологической системы (*set-up*). Она не увенчалась успехом; в этой неудаче (и этой неудачей) она формирует (*establishes*) цель и метод»<sup>15</sup>.

Шумпетер, конечно же, прав в том, что сила Маркса – в его методе, в его научной программе, основанной на принципах историзма и системности, в его социально-исторической теории. Но прежде чем говорить о программе, теории и методе Маркса, необходимо начать с проблемы идеологии вообще и марксизма в частности, поскольку теория Маркса тесно связана с определенной идеологией. В свою очередь, проблема идеологии (и связанной с ней теории) влечет за собой проблему эпохи. Итак, теория (научная программа), идеология и эпоха. Начнем с эпохи.

## 2. Эпоха: концы и начала

Эпохи часто являются в большей степени ключом к системам идей и теориям, которые в эти эпохи возникают и которые, помимо прочего, призваны их объяснить, чем эти теории и идеи – ключом к самим эпохам, «*ибо не знает человек времени своего*» (Экклезиаст).

Гераклитовское «*борьба – отец всего*» в большей степени отражает реальность малоазийских греческих городов, чем объясняет ее; равновесные модели Т. Парсонса и неравновесные модели И. Пригожина прежде всего социоморфически отражают свое время, а уж затем «объясняют» его. Понять мыслителя, его теорию – это, прежде всего, понять время, эпоху, а еще лучше, если возможно, почувствовать их.

Развитие Маркса как человека, мыслителя, ученого пришлось на две тесно связанные, но очень разные эпохи европейской и мировой истории. Фундамент был заложен в двадцатилетие 1830-1840-х годов (а внутри него – особенно в 1840-е), венчавшее «эпоху революций» (1789–1848), или, как выразился А. Токвиль, «шестидесятилетнюю революцию». Как человек и мыслитель Маркс, а следовательно, и его представления, взгляды, ценности – все, что входит в «преданалитическую деятельность», хотя и не исчерпывает ее, все, что обуславливает «первый метафизический шаг», сформировался в основном в 1830-1840-е годы. В этом смысле можно

<sup>13</sup> Schumpeter J.A. Capitalism, socialism, and democracy. – N.Y.: Harper a. Row, 1976. – P.21.

<sup>14</sup> Schumpeter J.A. History of economic analysis. – N.Y., 1954. – P.42.

<sup>15</sup> Schumpeter J.A. Capitalism, socialism, and democracy. – N.Y. Harper a. Row, 1976. – P.44.

сказать, что Маркс сформирован революционной эпохой, эпохой рождения, генезиса, зари Современности; он – «революционно-утренний» человек Современности. И хотя у Маркса, в отличие от его старших современников, например Гейне, не было непосредственного опыта наполеоновской эпохи – в лучшем случае Маркс лишь мальчиком мог уловить ее уходящий аромат, тем не менее, наследуя эпоху в целом, он наследовал и этот ее героико-романтический, индивидуалистический («наполеоновско-байронический») «сегмент» помимо революционно-массового.

Доформировывался Маркс в «длинные пятидесятые» (1848–1867), трудясь над рукописями, которые в 1867 г. отлились в «Das Kapital». Это была уже другая эпоха, по-своему более острая и насыщенная, чем 1830–1840-е годы. Выражаясь языком Маркса, 1850–1860-е годы представляли собой эпоху уже формационного капитализма, т. е. собственно капиталистическую эпоху, ее довольно бурное начало. И все же повторю: фундамент в развитии Маркса был заложен на входе в (формационный) капитализм, на его пороге, а не самим капитализмом, или, по крайней мере, далеко не только им, что обусловило как сильные, так и слабые стороны социально-исторической теории Маркса.

Что же это было за время – время Маркса? Чем и какими были два десятилетия, сформировавшие его самого и хронологически вместившие две трети его жизни, его теорию? Оба десятилетия, безусловно, переломные, особенно 1830–1840-е, с которых я и начну. 30–40-е годы XIX в. стали временем великого перелома (не в сталинском, разумеется, смысле), многостороннего и многоуровневого кризиса западноевропейского общества, который изменил жизнь не только Европы, создав, выковав из нее «Запад», но и «земной цивилизации» в целом, породив всемирную историю, а вместе с ней надежды и мечты, оказавшиеся в большинстве своем иллюзиями. Но в то время об этом еще не знали. Маркс был сыном того времени, крайне противоречивого. И Маркс своей личностью, идеями и трудами отразил и выразил эту противоречивость. Он и сам – как мыслитель, политик – был очень красноречив, этот Антихрист буржуазии и Христос пролетариата, что, по-видимому, во многом и является залогом его интеллектуального бессмертия. Или, скажем так, практического, виртуального бессмертия, которое, по-видимому, прямо пропорционально «плотности» противоречий, воплотившихся, сконцентрировавшихся в том или ином человеке и тем более мыслителе.

Прежде всего, 1830–1840-е годы венчали **внутри-формационный**, как сказал бы Маркс, т. е. структурный, а не системный кризис капиталистической системы. Это был кризис, **экономически** связанный с переходом от ранней, мануфактурной стадии к зрелой, промышленной, когда формируется адекватная капитализму как исторической системе (формации) индустриальная система производительных сил, когда происходит становление капиталистического общества в строгом системно-историческом (формационном) смысле этого слова.

Политически кризис был связан с переходом от структур, институтов Старого Порядка (Ancien Regime) к тому, что К. Поланьи назовет «цивилизацией XIX в.». И хотя А. де Токвиль отметил многие черты преемственности между дореволюционной и послереволюционной Францией, а А. Майер<sup>16</sup> показал, что Старый Порядок сопротивлялся вплоть до 1914 г., тем не менее различие между Европой до 1789 г. и после 1848 г. неоспоримо и очевидно. Как очевидной стала в середине XIX в. задача создания принципиально новых институтов социально-политического контроля вместо «старопорядковых», оказавшихся неадекватными формирующемуся индустриально-массовому обществу. Отсюда в конечном счете легализация политической оппозиции в капиталистическом обществе – черта, принципиально отличающая это общество от всех прочих<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> См.: Mayer A J. The persistence of the old order: Europe to the Great War. – L.: Croom Helm, 1981. – 368 p.

<sup>17</sup> См.: Wallerstein I. Historical capitalism. – L.A. N.Y.: Verso, 1983. – P.47–72.

Социально кризис был обусловлен сдвигом от аграрного, «группового» общества к урбанистическому, массовому.

Во-вторых, 1830-1840-е стали кризисом не только с формационной, но и с общесоциальной точки зрения, т. е. кризисом в развитии западноевропейского общества в целом. Если революционная эпоха 1790-1840-х годов была переходной от одной структуры капиталистической системы к другой, то «хвостик» самой этой эпохи – 1830-1840-е годы – стал, в свою очередь, переходом от революционной, «межструктурной», промежуточной эпохи к новому структурному состоянию, или, как сказал бы Э. Хобсбаум, transition from «*the age of revolution*» to «*the age of capital*». Этот переход, помимо прочего, предполагал превращение «опасных классов» (dangerous classes, classes dangereux) Великобритании и Франции, которыми тогда ограничивался «авангард прогресса», в «рабочие классы» (laboring classes, classes laboureux). На повестку дня была поставлена задача их «деданжеризации», превращения в формационно-капиталистический рабочий класс, относительного социально-политического замирения. Маркс ошибочно принял за «рабочий класс» именно «опасные классы»; за агента капитализма – агента революционной эпохи, предшествующей формационному капитализму, агента, который уходил в прошлое вместе с революционно-романтической эпохой, таял, подобно силуэтам с романтических полотен Каспара Давида Фридриха, оказываясь исчезающей натурой европейского общества той поры<sup>18</sup>.

В-третьих, 1830-1840-1850-е годы оказались водоразделом, переломным, кризисным временем в истории европейского исторического субъекта, европейской цивилизации. За этот отрезок времени локальная Европа стала феноменом мирового уровня – Западом, Западом Все-мира, европейский *meum* превратился в мировой универсальный *verum*, а европейским универсалистским, исторический субъект обрел универсум, мир в целом как *locus operandi* и *field of employment*, что впервые в истории обеспечило адекватную ему производственно-географическую форму, превратив саму историю во всемирную.

Превращение, о котором идет речь в данном случае, является настолько важным и глубоким, что о нем следует сказать несколько подробнее. Дело в том, что цивилизованность как качество исходно, генетически ограничено некими пространственными рамками; цивилизованность – качество локальное и, что еще важнее, локалистское. Европейская (западная, «франкская») цивилизация, которая начала возникать с христианством во времена поздней античности и оформилась с рождением готики (хотя это, разумеется, спорная датировка), исходно была универсалистской. В этом смысле она никогда не была локалистской и существенно отличалась от локальных цивилизаций, будь то китайская или индийская, в которых субъект социально вообще не фиксировался, или античная, где субъект был коллективным и локальным (полис). Можно говорить о локальной ограниченности, но не о локальном характере (локализме) Европейской цивилизации.

Несмотря на то что с XII в. Европейская цивилизация начинает расширение, пульсирующую экспансию – и это тогда, когда другие цивилизации в целом прекратили территориальный рост, приведя в соответствие свои локальные границы и характер, – до первой трети/середины XIX в. Европа **качественно** остается локально ограниченной системой. Только капитализм на его промышленной стадии позволил ей **производственно, социально-экономически** устранить локальные ограничения или сделать их незначимыми, охватить весь мир, сделать мир своим *locus operandi*. Только промышленный («формационный») капитализм позволил европейскому историческому субъекту обрести адекватную ему форму – Универсум, сняв противоречие между универсалистским содержанием и локально-ограниченной формой,

<sup>18</sup> Подр. о причинах отождествления Марксом капитализма с социально-экономической ситуацией Англии первой трети XIX в., а рабочего класса – с «опасными классами» см.: Фурсов А.И. «Манифест Коммунистической партии», или 150 лет спустя // РИЖ. – М., 1998. – Т.1., № 1. – С. 275–279.

между универсалистской субъектностью и цивилизованностью как качеством, как локалистской системностью или даже структурностью. Не случайно капитализм не создал своей особой цивилизации (прав Х. Зедль-майр, согласно которому последним оригинальным цивилизационным движением Европы было барокко, пришедшее на «пересменку» формаций, на промежуточную историческую эпоху): он в ней не нуждается. Капитализм располагается на ином, чем цивилизованность, уровне, хотя имеет вполне очевидные цивилизационные корни. Это не есть провал или негативная характеристика капитализма, но его положительное качество<sup>19</sup>. Можно сказать и так: капитализм – это преодоление цивилизованности, это ответ универсалистского исторического субъекта и всем цивилизациям, включая родную европейскую, и цивилизованности как явлению; это социально-экономическое, производственное освобождение универсалистского субъекта от локальноцивилизационных наростов – большинства, или почти всех, как это произошло в США.

Ответ, о котором идет речь, в 1830-1840-е становился все очевиднее, а в 1850-1860-е годы он уже просто проявился в сферах экономики, рынка; европейская мир-экономика вышла на финишный круг превращения в мировую капиталистическую экономику.

Суть в том, что, в-четвертых, кризисная, переломная эпоха в развитии универсалистского исторического субъекта Европы, в развитии Европейской цивилизации, европейского общества в целом была тесно связана с качественными сдвигами в развитии мирового рынка и европейской мир-экономики. Эти сдвиги стали средством и реализации, и преодоления кризиса, о котором идет речь. 1830-40/50-е годы – явились как время превращения европейской мир-экономики в капиталистическую мировую экономику; мировой рынок расширился до глобальных пределов, фактически охватив весь мир. Маркс и Энгельс писали, что в середине XIX в. Европа заново переживает свой XVI в. – в смысле географических открытий, резкого и качественного расширения ойкумены. Количество и масштаб географических открытий конца 1840-1850-х годов превзошли все, что было достигнуто с XVI в., со времен Колумба и Магеллана, мир оказался распаханым настезь Европой и Европе. Запад (капитализм) взял его в оперативную разработку.

Расширение мира до планетарных размеров, совпадение «мирового» и «глобального» – процесс, который мне хочется назвать «жюльвернизацией мира», – были достигнуты прежде всего за счет и посредством включения в уже освоенный мир, в мировой рынок той части мира, которую мы теперь называем Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Последнее произошло путем «открытия» Китая в ходе «опиумных войн», а также открытия золота в Калифорнии (1849) и в Австралии (1851). Особенно серьезные последствия для мира имело калифорнийское золото – именно оно заставило американцев строить трансконтинентальные железные дороги, выходить на Тихий океан, а затем «открывать» Японию и «замыкать шарик» с запада на восток, надевая на него капиталистический обруч и возвещая начало подлинно всемирной истории. Последняя, как совершенно верно отмечали Маркс и Энгельс, существовала не всегда, а возникла в середине XIX в.

То есть тогда, когда мир совпал с «глобусом», став Все-миром. Заметим: в этом смысле Маркс с его теорией оказывается на грани эпох, в хроноисторическом пограничье – между региональной эпохой и всемирной, между эпохой локусов и регионов, с одной стороны, и мировой (всемирной) системы – с другой.

За превращение во всемирную Историю пришлось заплатить. В течение двадцати лет после 1848 г. (1848–1867 гг., «длинные пятидесятые») она впервые испытала синхронное всемирное потрясение, одновременный (или даже одномоментный – в исторических масштабах) шок как реакцию на объединение, сжатие. Капитализм надавил, и мир – теперь единый, жюльвернизированный, засопротивлялся – сразу и почти во всех своих частях. За револю-

<sup>19</sup> Подр. см.: Фурсов А.И. Колокола Истории. – М.: ИНИОН, 1996. – С.301–312.

цией 1848 г. последовали установление Второй империи во Франции (1851), Крымская война (1853–1855), отмена крепостничества в России (1861), польское восстание (1863), начало объединения Италии и Германии (1860-е годы), гражданская война, победа промышленного Севера над аграрным Югом и отмена рабства в США (1861-1865-е годы), сипайское восстание в Индии (1857), тайпинское восстание в Китае (1850–1864), начало реставрации Мэйдзи (1867) – последняя, конечно же, не была буржуазной революцией, что пытались доказывать ретивые сторонники «пятичленки», но открыла путь в эпоху, в которой буржуазные преобразования стали возможны.

В том же 1867 г. исключительно важные изменения произошли в Англии, но мы вернемся к ним чуть позже, а сейчас отметим, что включение в контролируемый Европой мировой порядок Восточной Азии (главным образом Китая; Япония сначала была включена лишь политически) и открытие золота в Америке и Австралии стали тем средством, с помощью которого европейская экономика, ее наиболее промышленно развитая часть вышла из кризиса и таким образом смогла довольно быстро преодолеть потрясения революции 1848–1849 гг. В этом смысле можно сказать, что начало формирования того, что теперь называют АТР, как финальная фаза становления системы капитализма как **мировой**, а истории – как **всемирной**, было результатом поисков выхода европейского капитализма из кризиса и обнаружения этого выхода за пределами Европы. Кризис был вытеснен, вынесен за европейские пределы. И последствия не замедлили явиться. Наступившие «длинные пятидесятые» стали поистине мировым потрясением, синхронизацией (при определенной внутренней связи) целого ряда кардинальных изменений. Они прокатились с запада на восток и, обогнув земной шар, вернулись с востока на запад, причем экономически – уже в 1857 г. Вытеснив кризис за свои пределы, сделав его полем мир в целом и историю как всемирную, «изобретя» планетарный мир и всемирность истории как средство разрешения своего внутреннего кризиса, европейское капиталистическое ядро спровоцировало двадцатилетний мировой политический кризис, а ровно в его хронологической середине – 1857–1858 гг. – произошел экономический кризис. Реакция пораженных современников была следующей: *«Мир – единое целое (unit), промышленность и торговля сделали его таким»*.

Можно сказать, что в «длинные пятидесятые» История впервые испытала миргазм<sup>20</sup>, точнее, они стали этим миргазмом. Как правило, миргазмы совпадают с мировыми войнами, но не всегда, «длинные пятидесятые» XIX в. – одно из исключений.

Если экономически потрясения, прокатившиеся по миру, вернулись в Европу, в Англию в 1857 г., то «политический оборот» завершился в 1867 г. Примерно в то же время, когда представители японских княжеств Сацума, Тоса, Тёсю активизировали переговоры о необходимости восстановления власти императора (в ноябре 1867 г. отрекся последний сегун из дома Токугава – Есинобу и **фактически** реставрация, о необходимости которой говорили даймё и самураи нескольких княжеств, свершилась; **формально** это произошло в начале января 1868 г.), в Англии один закон исключительной важности был принят и один закон отменен. Принят был «The second reform act» – августовский закон об избирательной реформе, впервые предоставивший избирательные права рабочим, точнее их части; но и этого современникам мало не показалось, не случайно они называли акт «прыжком в темноту» («a leap in dark»).

Отменен был «Закон о хозяевах и слугах», что формально уравнило в правах перед судом предпринимателей и рабочих. Второй системообразующий класс капиталистического общества получил хотя и частичное, но политико-юридическое признание. «Капиталистическая эстафета», начав свой бег экономическим кризисом в Англии 1848 г., сделала полный оборот

<sup>20</sup> Этим «игрословом» я обязан Герману Кану, поскольку сконструировал его по аналогии с кановским «wargasm» – ситуация, когда нажаты все ядерные кнопки. От «wargasm» – всего лишь шаг до «worldgasm of History» – термина, употребленного мной в одной из моих англоязычных статей; «миргазм» – перевод с английского.

вокруг земного шара, достигнув далекой Японии, и развернув даже эту закрытую страну к Западу («избушка-избушка, повернись ко мне...»), вернулась в Европу, в Англию. Мир стал единым и капиталистическим. Тут-то и подросел Маркс со своим «Капиталом». Капиталистический мир? Мир капитала? Извольте – «Das Kapital». Но мир этого не заметил, по крайней мере сначала – несмотря на все старания и ухищрения «Фреда» Энгельса, писавшего под разными именами разные, диаметрально противоположные по оценке, рецензии на «Капитал». Цель – привлечь внимание, вызвать дискуссии, пробудить интерес. Не вышло. Но это уже другая тема. Для нас здесь главное, что 1867 г. замыкает некую эпоху, начавшуюся в 1848 г. и превратившую мир в капиталистический. Справедливости ради необходимо отметить, что существуют и другие датировки окончания эпохи превращения Европы в «мир капитализма», не совпадающие с 1867 г. – «длинных пятидесятих». Эти даты имеет смысл привести не только с точки зрения интеллектуальной частности и научной пунктуальности, но и потому, что они косвенно проливают дополнительный свет на эпоху Маркса, на ее излет, закат.

### 3. Возможность других дат конца эпохи – шлейф Истории?

Британский юрист А.В. Дайси считал концом эпохи, начавшейся в 1848 г., год 1870. Он писал, что в 1870 г. в Англии закончилась эпоха индивидуализма и началась эпоха коллективизма<sup>21</sup>. Ясно, что коллективизм связывается и с выходом на политическую арену рабочего класса, и с первыми шагами «деиндивидуализации», монополизации капитала.

Более сильной и значимой, чем 1870 г. (но не 1867 г.) в качестве даты, замыкающей эпоху, представляется 1871 г. Этот год знаменателен сразу в нескольких отношениях. Начать с того, что это год Парижской коммуны – первого самостоятельного (без буржуазии, антибуржуазного) выступления рабочих и низов в Европе и во Франции в частности. Во Франции, правда, такое выступление пролетариев стало первым и последним, после 1871 г. Париж навсегда выпадает из списков пролетарской или традиционной «старолевой» революционности (но не революционности вообще – был ведь и 1968 г., впрочем, студенческое движение было революционным в той же степени, что и реакционным, и у нас еще будет возможность поговорить об этом на страницах «Русского исторического журнала»). И хотя французы в 1875 г. провозгласили 14 июля национальным праздником, а «Марсельезу» – национальным гимном<sup>22</sup>, это не меняет ни ситуацию в целом, ни ее оценку. Разумеется, этот акт французских властей следует воспринимать прежде всего в событийно-конъюнктурном контексте борьбы республиканцев и роялистов в первой половине 1870-х годов, как символический удар по роялистам. Но был и другой контекст. Факт, что вскоре после кровавых событий Парижской коммуны, когда счет трупов шел на десятки тысяч, буржуазия не побоялась принять в качестве национального гимна со словами:

*Allons, allons,  
Que sangue impure  
Epreuve nos sillons!*

очень красноречив. Помимо прочего, он показывает и убеждает, что эпоха революций со всей очевидностью ушла в прошлое настолько, что буржуазия и ее государство могли присвоить, апроприировать ее символы, сделать их своими. Но это также значит, что к середине 1870-х годов во Франции, да и в других странах Европы господствующий строй, Система в значительной степени интегрировали в себя тот слой, который готов был выходить на баррикады,

<sup>21</sup> Hobsbawm E.J. The age of capital, 1848–1875. – L.: Weidenfeld a. Nicolson, 1975. – P.303.

<sup>22</sup> Furet F. Terminer la revolution: de Louis XVIII a Jules Ferry (1814–1880). – P.: Hachette, 1988. – P. 466–467.

«дисциплинировали» его (в фукоистском смысле слова, проведя то, что Ф. Карон, правда, для другой эпохи, назвал «l'encadrement de masses»<sup>23</sup>).

1871 год принес французской столице еще одно знаковое и эпохальное «выпадение». Как заметил А. Хорн, после двух взятий города – Бисмарком и Тьером – Париж утратил роль и качество одного из главных (если не главного со времен Людовика XIV) центров державной имперской мощи Европы<sup>24</sup>. События 1789 г. и особенно 1848 г. дополнили имперско-державный Париж революционными чертами и обликом – до такой степени, что революция и империя переплелись тесным и странным образом, причем не только в национально-ограниченном французском плане, но и общеевропейском.

Так, в 1848 г. *«на следующий день после 24 февраля ни один государственный деятель не сомневался в том, что Европа будет потрясена в близком будущем отголоском событий, театром которых только что стал Париж»*<sup>25</sup>. Так оно и вышло – революция 1848 г., перешагнув французские границы, стала общеевропейской, а Э. Хобсбаум, хотя и с некоторым эмоциональным перебором, назвал ее потенциально первой глобальной революцией.

В действительности 1789 год не привел к общеевропейскому взрыву (хотя его и опасались, но, в отличие от 1848 г., мало кто ждал его всерьез). Французскую революцию в другие страны принес Наполеон, войны которого, помимо прочего, стали экспортным вариантом французской революции, **таким образом** загасив ее разрушительный потенциал в самой Франции и используя его для строительства империи. Спустя десятилетия по похожему пути пойдет Бисмарк, который вступит в союз с германской революцией, чтобы усмирить ее<sup>26</sup> и, «откачав» ее энергию, направить против самой революции и на строительство империи, рейха, а также во вне (против той же Франции – исторический ответ «михелей» Людовику XIV и Наполеону).

Бисмарк пошел по иному, чем Наполеон пути – не по имперско-революционному, а реакционно-революционному, по пути удушения революции в объятиях (после того, как в 1848 г. провалилась его попытка организовать реакционный переворот, т. е. достичь своих цепей чисто реакционным путем), г. Манн в своей «Истории Германии после 1789 г.» противопоставляет Бисмарка и Маркса: первый стремился к подавлению революции, второй – к ее радикализации. У обоих, пишет Г. Манн, ничего не вышло, они были людьми будущего<sup>27</sup>, в 1848 г. их время еще не пришло. И это естественно, 1848 год замыкал старую эпоху; для новой «чистые» решения «или – или» не годились, и Бисмарк – практический политик, прагматик, хорошо понял это и поставил революцию на службу нации и государству (империи). Другое дело, что ему пришлось выполнить кое-что из того, что должна была сделать, но не сделала революция, но это уже относится к проблеме соотношения средств и целей.

Бисмарк своих политических целей достиг. А вот Маркс, продолживший прямолинейный революционно-интернациональный путь и после 1848 г., проиграл, не поняв роли национализма в новой капиталистической эпохе, не связал капитализм и экономические процессы 1850-1860-х годов с национализмом и государством, продолжая судить о национализме с узко-классовых позиций. Или, по крайней мере, судить на уровне теории. Что касается эмпирических, конкретных на политическую злобу дня, то здесь Маркс оказывается шире своей теории. Например, как заметил У. Коннор, в «Гражданской войне во Франции» Маркс значительное внимание уделил вопросу о роли национального сознания французов<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> Caron F. La France des patriotes de 1851 a 1918.-P.: Fayard, 1985. – P.94.

<sup>24</sup> Horn A. The fall of Paris. The siege and the commune, 1870–1871. – Garden City, N.Y.: Anchor books, 1965. – P.VIII.

<sup>25</sup> Дебидур А. Дипломатическая история Европы от венского до берлинского конгресса. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1947. –Т.П. Революция. – С.7.

<sup>26</sup> Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе, 1848–1978. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1988. – С.300.

<sup>27</sup> Mann G. The history of Germany since 1789. – N.Y. etc.: Praeger, 1968.-P.121.

<sup>28</sup> Connor W. The national question in Marxism-Leninism theory a. strategy. – Princeton: Princeton univ. press, 1984. – P. 17–18.

Нужно сказать, что «Гражданская война во Франции» и «18 брюмера Луи Бонапарта» вообще стоят особняком от других работ Маркса. В них он дал не только экономический, классовый, но и политический анализ ситуации. Более того, характеризуя политику, политическую власть и государство во Франции, Маркс по сути признавал автономный характер развития этих сфер общества, его несводимость напрямую к экономике. В результате его анализ государства во Франции оказывается сходным с таковыми Токвиля и Прудона. Проблема, однако, заключается в том, что выводы обеих работ, о которых идет речь, остались на уровне *ad hoc* и не вошли в плоть и кровь теории Маркса.

Возвращаясь к проблеме национализма и пролетариата, отмечу, что это до 1848 г. у **предпролетариев** не было ничего кроме цепей; это у представителей «опасных классов» не было родины. У пролетариев после 1848 г. появляется родина, т. е. национальное государство. Как показали 1850-1860-е годы, и прежде всего в Англии, к опыту которой главным образом обращался Маркс, борьба пролетариев за экономические и политические права объективно оказалась борьбой и за обретение родины. Классовая и национальная идентичности пролетариев ковались и завоевывались одновременно; более того, они суть две стороны одного и того же процесса. Пролетариат второй половины XIX в., в отличие от предпролетариата XVIII – первой половины XIX в., оформляется как агент национального государства, как национальный отряд – в чем-то в значительно большей степени национальный, чем буржуазия, что и привело впоследствии к краху всех интернационалов, от «марксинтерна» до коминтерна. Бисмарк эту национальную компоненту рабочего класса, возможности ее использования в деле реакции и против революции почувствовал очень хорошо, а Маркс и Энгельс этого не поняли. При том, что конкретно по поводу прежде всего Бисмарка они поняли нечто очень важное, эмпирически зафиксировав принцип «реакция выполняет программу революции» и проиллюстрировав его примерами Бисмарка, Наполеона III и Дизраэли. Зафиксировать-то зафиксировали, а буквально напрашивающихся выводов, которые почти автоматически связали бы «реакционно-революционные» государства-нации-империи с «глобальным капитализмом», родившимся после 1848 г., продемонстрировав их единство как «формы» и «содержания», не сделали. И это лишний раз говорит о том, что Маркс многого не понял в том капитализме, который оформился в промежутке между его «Манифестом» и «Капиталом», продолжая проецировать прошлое на настоящее. Впрочем, в такую ловушку попадают многие мыслители, руководствующиеся мифами и горящие тайными желаниями (власти, например, или привласти, под которые подгоняется интеллект, *ratio*, оборачивающееся в таком случае в *irratio*).

Итак, в 1871 г. Париж перестал быть общеевропейским символом революции и имперскости вообще и, что важно для нашей темы, специфической революционности, связанной с 1848 г., и специфической имперскости (Вторая империя), связанной с тем же годом. Однако это не единственная европейская утрата 1871 г. Была и еще одна, не менее, а, пожалуй, и более, серьезная.

В апреле 1871 г. полковник Джордж Чесни опубликовал в журнале «Блэквудз мэгэзин» полурассказ-полуразмышление «Битва при Доркинге». Речь шла о возможностях успеха немецкого вторжения в Англию. «Битва при Доркинге» и поднятые в ней вопросы обсуждались даже в Парламенте, не говоря уже о более широкой публике. И хотя в следующий раз тема германского нашествия была поднята четверть века спустя, в 1895 г. (публикация в 1895 г. «Осады Портсмута»)<sup>29</sup>, первый удар колокола по гегемонии Великобритании прозвучал. С 1815 г. Британии, хотя и приходившей в себя три десятилетия после наполеоновских войн, никто не мог бросить вызов, тем более подумать о вторжении на ее территорию. Сам факт обсуждения воз-

<sup>29</sup> Royle T. *Ge Carre and the idea of espionage // The quest for le Carre / Ed. a. Bold. – Г.: Vision press; N.Y.: St. Martin's press. –1988. –P.90–92.*

возможности нападения, покушения на территорию своей страны свидетельствует об исчезновении у жителей этой страны психологической уверенности в своей неуязвимости, начало психологического отступления (хотя еще вовсе и далеко не поражения). С Англией это произошло в 1871 г. Таким образом, в 1871 г. мир изменился не только по революционно-массовой и политической линии (хотя значение Парижской коммуны не стоит переоценивать), но и по международно-государственной. Пик британской гегемонии был пройден, межгосударственная система вступала в очередной период соперничества (1871–1914 гг.), увенчавшийся новой «тридцатилетней» мировой войной (1914–1945 гг.).

А вот другая дата – 1873 г. Дата тоже серьезная, стоящая, ведь в том году произошел крах лондонской фондовой биржи, который Э. Хобсбоум назвал «*великобританским эквивалентом краха Уоллстрит*»<sup>30</sup>. Звучит красиво, но не точно: кризис 1873 г., давший старт «великой депрессии» 1873–1896 гг.<sup>31</sup>, стал началом конца британской мировой экономической гегемонии, т. е. ступенью по лестнице, ведущей вниз, тогда как кризис 1929 г. был вехой в восходящей гегемонии США, т. е. ступенью на лестнице, ведущей вверх. Несомненно, однако, то, что кризис 1873 г. **экономически** закрывает эпоху, начавшуюся с окончанием кризиса 1848 г. И уж в чем Хобсбоум прав бесспорно, так это в том, что кризис 1873 г. – первый в строгом смысле слова капиталистический кризис, кризис эпохи «формационного» капитализма. В отличие от него, кризис 1848 г. был последним и крупнейшим кризисом старого типа, принадлежащим миру, зависимому от урожаев и сезонных изменений<sup>32</sup>, т. е. миру по сути докапиталистическому или, в лучшем случае, предкапиталистическому. Это был последний кризис экономики Старого Порядка, тогда как в 1873 г. разразился первый кризис экономики капиталистического порядка. Поэтому-то Хобсбоум и настаивает, что мир стал капиталистическим именно между 1848 и 1873 гг., и в такой аргументации есть большой резон.

Однако, соглашаясь с Хобсбоумом в целом, надо отметить и тот факт, что кризис 1848 г. имел и некоторые внеаграрные и вообще внепроизводственные черты, связанные с торговлей (в частности, британско-индийской) и с финансовой ситуацией в Европе и США. В частности, необходимо вспомнить «финансовую манию» вложений в железные дороги, которая привела к росту цен на зерно со всеми вытекающими кризисными последствиями<sup>33</sup>. Хотя, повторю, общей оценки экономического кризиса 1848 г. (1847–1848 гг.) это не меняет.

Можно привести еще одну дату – претендующую на «занавес эпохи», начавшейся в 1848 г. – 1876 год.

За четверть века до этого, в 1851 г., в Лондоне была проведена первая Всемирная (Мировая) выставка, которая, закрыв английские 1840-е, по-своему стала вершиной XIX в., волшебными воротами в Эпоху Оптимизма, прошедшую под лозунгом «Производство. Изобретение. Достижение»<sup>34</sup> и длившуюся аж до 1914 г. Впрочем, оптимизм, особенно после середины 1870-х годов, начал постепенно убывать. Это очень хорошо видно по массовой литературе того времени. Достаточно сравнить романы известной трилогии Жюль Верна, написанные к середине 1870-х (1867–1874 гг.), с четырьмя наиболее известными романами Г. Уэллса, написанными во второй половине 1890-х (1895–1898 гг.). В первом случае – гимн эпохе, полной уверенности в возможностях человека, в его силах, его будущем; во втором – пронизывающее все четыре произведения чувство тревоги, враждебности окружающего мира. А ведь всего двадцать лет прошло, и до 1914 г. еще почти столько же. «*Как мир меняется...*».

<sup>30</sup> Hobsbawm E. – The age of capital... – P.5.

<sup>31</sup> Подр. см.: Hobsbawm E. The age of empire, 1875–1914.-Г.: Abacus, 1997.-P.34–55.

<sup>32</sup> Hobsbawm E. – The age of capital... – P.30.

<sup>33</sup> Kindleberger Ch. A financial history of Western Europe. – L. etc: J.Allen a. Unwin, 1984. – P.272.

<sup>34</sup> Dodds W. The age of paradox: a biography of England, 1841–1851.-Л.: Victor Gollancz, 1953. – P.487.

Следующая после 1851 г. выставка была проведена в Париже в 1855 г., затем Лондон – 1862 г., Париж – 1867 г., а в 1870-е выставка поехала за океан, в первую столицу США – Филадельфию. Произошло это в 1876 г. – том самом, который ознаменовался полным провалом правительства Гранта (и в этом смысле подвел черту под послевоенной эпохой в истории США), самыми грязными в истории США президентскими выборами и первым знакомством американцев с бананом (в обертке из фольги, за 10 центов)<sup>35</sup>. Конечно, формальной причиной проведения выставки на западном побережье Северной Атлантики было столетие США. Но была и реальная причина – резко выраженный экономический и технический потенциал США, их удельный вес в мировой экономике – уже в 1870 г. на долю США приходилась почти четверть – 23 % – мирового промышленного производства<sup>36</sup> (для сравнения: на долю Германии – 13 %).

Еще на лондонской выставке 1851 г. американцы удивили Европу своей техникой, в частности, револьвером Кольта и жатвенной машиной МакКормика<sup>37</sup>. К 1876 г. США накопили уже такой технический потенциал, что во многом благодаря их экспонатам филадельфийская «Выставка достижений мирового капиталистического хозяйства» стала одним из грандиознейших в XIX в. показов технических достижений<sup>38</sup>. Американцы продемонстрировали телефон Белла, воздушный тормоз Вестингауза, усовершенствованную крупнейшую в мире паровую машину Эдисона, пишущую машинку и многое другое. Разумеется, американцы еще не могли соперничать с англичанами в экономике (в отличие, например, от бокса – здесь уже в 1860 г. наметились сдвиги), однако проведение выставки в «стране янки» было знаком новой эпохи и заслуженным авансом будущему гегемону капиталистической мировой экономики. По иронии истории открывалась выставка под музыку Вагнера – композитора той страны, которая вскоре станет главным конкурентом США в борьбе за мировую экономическую гегемонию.

1876 год ознаменовался еще одним событием, причем тесно связанным с деятельностью Маркса. Речь идет о роспуске его детища – I Интернационала. Он не вписывался в наступавшую эпоху – эпоху империализма/национализма и обострения межгосударственной борьбы. I Интернационал оказался беспомощным перед лицом новой эпохи вообще и франко-прусской войны в частности – так же оказался беспомощным II Интернационал перед лицом II мировой войны.

В связи с мировой политикой – еще одна дата: 1878 год, год Берлинского конгресса. Этот конгресс завершил, оформил окончание политического переустройства Европы, адекватного экономическим изменениям 1850-1860-х годов. Или иначе: этот конгресс привел международно-государственную форму в соответствие с экономическим содержанием системы «глобального капитализма», осуществившего свое триумфальное шествие по миру в 1850–1860 гг.; в 1879 г. с заключением Бисмарком тайного союза с Австро-Венгрией, направленного на нейтрализацию России, которая была недовольна результатами Берлинского трактата<sup>39</sup>, началась новая политика (и новая политическая эпоха), завершившаяся в 1914 г. или даже в 1945 г.

Итак, несколько дат, каждая из которых по-своему привлекательна и резонна, особенно 1871 год – он более насыщен, чем другие, и отражает не один аспект изменений, а как минимум два. И все же я выбираю 1867 г., который отражает не просто несколько аспектов изменений, но, во-первых, некую целостность изменений; во-вторых, смену общесоциального настро-

<sup>35</sup> Американа. – Смоленск: Полиграмма, 1996. – С.456.

<sup>36</sup> Kennedy P. The rise and the fall of the great powers: economic change and military conflict from 1500 to 2000. – L.: Fontana press (an imprint from Harper Collins), 1989. – P.247.

<sup>37</sup> Kindleberger Ch. World economic primacy, 1500–1990. – N.Y., Oxford: Oxford univ. press, 1996. – P.133.

<sup>38</sup> Pierce N., Hagstrom J. The book of America: Inside 50 states today. – N.Y. a. L.: W.W. Norton, 1983. – P.105.

<sup>39</sup> Киссинджер г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – С. 135; Дебидур А. Дипломатическая история Европы. – М.: Госиздат, иностр. лит., 1947. – Т.П. – С. 497–501; А.Дж. П. Тэйлор Борьба за господство в Европе, 1848–1918. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – С. 274–277.

ения, исчезновение уверенности средних классов – внутрисоциальной, внутривнутриполитической, за которой в 1871 г. логически пришла неуверенность внешнеполитическая.

Как заметил крупный английский историк А. Бригз, в 1867 г. многие люди с уверенностью смотрели в прошлое и со все большей неуверенностью в будущее<sup>40</sup>. И было почему. «Second Reform Bill» закрыл не только ту эпоху, которая началась в 1848 г., когда в борьбе с рабочим классом средние слои, т. е. значительная часть буржуазии, подтвердили свою монополию на политическую власть (их континентальные «братья по классу» в том же году в большей или меньшей степени решили главный для себя вопрос – об участии в правительстве, об активной роли в политической жизни<sup>41</sup>, причем тоже за счет рабочих и нередко в союзе с силами Старого Порядка). Он закрыл и другую эпоху, начавшуюся в 1783 г., когда средние классы начали доминировать в жизни Англии, а жизнь их самих стала постоянно улучшаться. 1783 год – начало не только новой социальной, но и новой экономической эпохи в Англии, когда после нескольких технических прорывов 1760-1770-х годов и превращения этих изобретений в нововведения стартовало то, что У. Ростоу назвал «устойчивым ростом» или «экономическим ростом современного» типа (3,4 % в год между 1783 и 1802 гг. по сравнению с 1 % в 1700–1783 гг.)<sup>42</sup>. Средние классы и экономический рост стартовали в Англии на редкость синхронно. При этом, однако, надо помнить, что англичане с 1795 г. («Закон Спинхемленда») сознательно тормозили или даже блокировали формирование рынка рабочей силы вплоть до начала 1830-х годов, создавая странную и уродливую ситуацию, когда экономический рост современного типа и развитие рынков капитала и земли не сопровождалось развитием рынка рабочей силы, т. е. параллельным курсом шли два процесса: капиталистический и антикапиталистический<sup>43</sup>.

Допущение в политическую жизнь рабочих, а значит и возможность как самой политической борьбы, так и борьбы политическими (т. е. легальными) средствами за экономические блага, подвели черту под тем, что А. Бригз назвал «эпохой улучшения», 1783–1867 гг.

В 1867 г. «пролы» вышли на политическую арену, и это вызвало растерянность: «Я раззудил плечо, трибуны замерли». Ах, как символично, как вовремя подоспел Маркс со своим «Капиталом». Бывают же совпадения в истории (впрочем – совпадения, если «забыть», что Маркс «поджимал» себя со сроками и в связи с борьбой за лидерство в I Интернационале). Английский 1867 год «перевешивает» все другие альтернативные даты конца эпохи. События 1868–1878 гг. (1870, 1871, 1873, 1875, 1876, 1878) при всей их важности были лишь шлейфом ушедшей эпохи, реакцией на то, что уже произошло. Мирный, без революции, без шума (чисто английская манера не шуметь; так, уже Тэрнер был во многом первым импрессионистом, но предпочитал находиться в русле традиции, хотя бы формально, а не рвать с ней на французский манер, в результате которого традиция сохраняется – парадоксальным, революционным способом – пожалуй, крепче, чем при эволюционном переходе) «выход в политический свет» части английского рабочего класса принципиально менял общесоциальную европейскую сцену с вытекающими из этого экономическими и политическими последствиями для мира, Европы в целом и отдельных стран. К этому «островному» событию 1867 г. на Дальнем Западе Евразии, напомним, надо добавить, во-первых, «островное» событие на Дальнем Востоке – в Японии («реставрация» Мэйдзи) и, во-вторых, международную выставку в Париже 1867 г.

Дело, конечно, не в самой выставке, а в тенденции, которая стала очевидной, была замечена именно во время ее проведения. Если психологический надлом в политической британской гегемонии в мире произошел в 1871 г., то серьезные сомнения по поводу экономиче-

<sup>40</sup> Briggs A. The age of improvement, 1783–1867.-L. a. N.Y.: Longman, 1979.-P.3.

<sup>41</sup> Laver J. The age of optimism, 1848–1914. – N.Y.: Harper a. Row, 1966.-P.18.

<sup>42</sup> Rostow W.W. How it all began: origins of the modern economy. -N.Y. etc.: McGraw Hill book company, 1985. – P.190; ero же: The world economy: history and prospect. – Austin a. L.: University of Texas press, 1975. – P.272.

<sup>43</sup> Подр. см.: Polanyi K. The great transformation: the political and economic origins of time. – Boston: Beacon press, 1944. – P. 77–102.

ского, промышленного господства Великобритании появились во время проведения именно парижской выставки 1867 г. За викторианским самодовольством стала просматриваться экономическая слабость «мастерской мира»<sup>44</sup>. Ну и наконец, last but not least, по крайней мере, с символической точки зрения, появление в 1867 г. «Капитала» Маркса. Другой вопрос, – в какой степени «Капитал» отражал и осмысливал значимые сдвиги «длинных пятидесятих». Но выход «Капитала» именно тогда, когда мир стал капиталистическим «по позитиву» (в 1873 г. он ощутит это и «по негативу») и когда «герои Маркса» вышли на политическую арену, хотя и не тем манером, которым хотел бы герр доктор и который он приветствовал бы (хотя «марксистский манер» 1871 г. самого Маркса не только порадовал, но и напугал, и огорчил – если и не «до невозможности», то сильно. Ну что же, *«the world is not always as we want it to be. It is as it is»*), очень символичен во многих отношениях. В том числе и в том, что «Сова Минервы вылетает в полночь». Маркс пытался рассказать об эпохе, которая уже закончилась и ускользала от этого Карабаса Барабаса (для буржуазии, а, впрочем, может, и для пролетариата тоже?) подобно трем куклам – героям «Золотого ключика», ускользавшим от сказочного Карабаса Барабаса (как жаль, что Энгельс не похож на Дуремара, вот была бы парочка! Но это к слову).

#### 4. Макроэкономические циклы и структуры повседневности: на переломе

Мы начали анализировать пограничность, переломность эпох, разделивших сознательную жизнь, формирование личности и творчество Маркса на две части, с капитализма по линии формации («во-первых»), затем перешли на уровень общества в целом, «включив» различие между «промежуточными», (революционными) и устойчивыми («ставшими») эпохами и стадиями («во-вторых»); затем поднялись на максимально общий и абстрактный уровень исторического субъекта и цивилизации («в-третьих»), после чего двинулись вниз, к более конкретным вещам – мировая капиталистическая экономика, классы, политика («в-четвертых»). Ну а закончить я хочу еще более конкретным, характеризующим один из аспектов, хотя и очень важный, функционирования мировой капиталистической экономики. Речь, в-пятых, пойдет о «кондратьевских циклах», поскольку по рубежу 1840–1850-х годов проходит граница между первым (1780-е – 1851) и вторым (1844–1896) «кондратьевскими циклами»; граница между двумя двадцатилетиями в формировании и творчестве Маркса прошла в аккурат по границе между двумя «кондратьевскими циклами», совпала с ней.

Экономическая наука знает несколько различных моделей циклов: Дж. Китчина (2–3 года), К. Жюглара (6–10 лет), С. Кузнеца (15–20 лет), Н. Кондратьева (45–60 лет), вековые тренды (тенденции, «логические циклы»), Р. Камерона (150–200 лет).

Среди них особое место занимают кондратьевские циклы по причинам как экономического, так и неэкономического характера: их среднесрочность позволяет – при желании и умении – активно использовать их историкам, социологам, политологам. 45–60 лет – это как раз такой срок, когда суть исторических событий проясняется, а собственно экономических объяснений уже не хватает, не достаточно для понимания даже экономических явлений.

Идеи «больших циклов экономической конъюнктуры» были сформулированы Н.Д. Кондратьевым в 1920-е годы. Экономист зафиксировал наличие крупных отрезков экономической истории (45–60 лет), которые делятся примерно на две равные части. Во время первой из них, грубо говоря, экономика развивается по восходящей («повышательная волна»), во время второй – по нисходящей («понижательная волна»).

Сам Кондратьев вел отсчет циклам (и составляющим их «волнам») с начала 1780-х годов. Первый цикл длился до 1844/1851 гг. («повышательная волна» – 1780–1810/1817;

<sup>44</sup> Kindleberger Ch. World economic primacy... – P.133.

«понижательная волна» – 1810/1817-1844/1851); второй цикл: 1844/1851-1890/1896 (1844/1851-1870/1875); третий цикл:

1890/1896-?<sup>45</sup>. Позднее исследователи «закрыли» третий цикл 1945/1950 гг. и этим же отрезком открыли четвертый (повышательная волна – до 1967/1973); мы, таким образом, находимся в «хвосте» четвертого цикла; «цикл бежал, хвостиком вильнул» – и нет ни СССР, ни коммунизма, т. е. Второго мира, «посыпался» Третий мир, да и Первому миру не сладко.

В ходе развития идей Кондратьева на Западе характеристики повышательной (подъем экономики) и понижательной (спад экономики) волн (фаз) цикла уточнялись (хотя те исследователи, которые приняли идею, по-разному объясняли причины и природу «волн» – ср. И. Шумпетера, У. Ростоу, Э. Мандела, И. Валлерстайна). Так, выяснилось, что во время повышательной волны подъем происходит не во всех секторах экономики, а во время волны понижательной не везде происходит спад, поэтому некоторые предпочитают вместо терминов «повышательная» и «понижательная» волны использовать более нейтральные – «А-фаза» и «Б-фаза». Выяснилось также, что «Б-фаза» имеет не меньшее значение для мировой экономики, чем «А-фаза», представляя собой нечто вроде выдоха, выброса углекислого газа. В целом «А-фаза» – это момент, когда в мировой экономике много монопольных секторов, следовательно, норма накопления выше, отсюда – экономический рост, подъем. «Б-фаза» – это момент «насыщения» рынков избыточной конкуренцией, следовательно, норма накопления ниже, экономика «сжимается», отсюда – экономический спад<sup>46</sup>.

На рубеже 1840-1850-х годов, когда в жизни Маркса не просто завершился один период и начался другой, а произошел крутой поворот, связанный с переездом в Англию, крутой поворот произошел и в «жизни» мировой экономики – не просто от одного кондратьевского цикла к другому, а от понижательной волны, Б-фазы, первого цикла, к повышательной волне, А-фазе, второго, от спада к подъему. Можно сказать, что в Лондон в 1849 г. герра доктора вынесли кондратьевская повышательная волна и революция 1848 г., и он оказался на острове, да не один, а с Пятницей-Фредом.

Переход от спада к подъему, от цикла к циклу и от фазы к фазе был стремительным. Экономический бум 1850-х, а точнее 1850–1860-х – первый капиталистический бум, в основе которого лежали открытие золота, рост банков в Великобритании, Франции, Германии, США привел к индустриализации мировой экономики и беспрецедентному накоплению капитала в мировом масштабе<sup>47</sup>.

В определенном смысле «длинные пятидесятые» XIX в. напоминают «славное тридцатилетие» (1945–1975 гг.) XX в. – оба периода являются «А-фазами», оба отмечены беспрецедентной «глобализацией». Правда, «длинные пятидесятые» начались революцией, а «славное тридцатилетие» окончилось революцией (1968), да такой, которая по-своему закрыла эпоху, начавшуюся не только 1945 г., но и 1848 г.

По сути, «длинные пятидесятые» были капиталистическим «большим скачком», завершившимся «Капиталом» Маркса. Понимал ли эту скачковость периода Маркс? Трудно сказать. Скорее, нет – и потому, что трудно понять время, в котором живешь; и потому, что Маркс был занят подготовкой к «Капиталу», а потом – «Капитала», анализируя в основном работы экономистов, писавших до 1850 г.; и потому, что в реальности 1850-1860-х годов он искал и видел **теоретическим** взглядом то, что хотел найти и увидеть; и наконец, потому, что целый букет событий, политический взрыв своей пылевой завесой должен был осложнить восприятие этой реальности. А «взрыв» был действительно мощным. Мы уже говорили о политиче-

<sup>45</sup> Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры // Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – С.197.

<sup>46</sup> См.: Hopkins T., Wallerstein I. Cyclical rhythms and secular trends of capitalist world-economy: some premises, hypotheses, and questions. – Binghampton (N.Y.): Fernand Braudel Center for the study of economies, historical systems, and civilizations, 1978.

<sup>47</sup> Gamble A. Britain in decline: economic policy, political strategy and the British state. – Boston: Beacon press, 1981. – P.52.

ском «миргазме» «длинных пятидесятих». Сейчас имеет смысл вернуться к этому вопросу, поскольку он тесно связан с проблемой кондратьевских циклов, являясь, под определенным углом зрения, ее аспектом.

Н.Д. Кондратьев подчеркивал, что *«периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн»*<sup>48</sup>. Кондратьев не стал давать (или не смог дать) теоретического объяснения этого явления, или, как он сам выразился, устанавливать причинную зависимость, но лишь зафиксировал некую эмпирическую закономерность или, опять же, по его выражению, *«вторую эмпирическую правильность»* (первая – изменение техники, обмена, финансов накануне повышательной волны; третья – депрессия сельского хозяйства во время понижательной волны; четвертая – наличие средних циклов в больших циклах)<sup>49</sup>.

Иллюстрация «второй эмпирической правильности» Кондратьевым очень впечатляет, а нам показывает, в каком международно-политически насыщенном мире жил зрелый Маркс, «изготавливая», как любили говорить в КГБ, свой *opus magnum*. Итак, политические события повышательной волны второго большого цикла: 1) февральская революция во Франции 1848 г.; 2) революционное движение в Италии и вмешательство иностранных сил – 1848–1849 гг.; 3) революционное движение в Германии – 1848–1849 гг.; 4) революционное движение в Австрии и Венгрии, подавление его в последней иностранным вмешательством – 1848–1849 гг.; 5) бонапартистский переворот во Франции 1851 г.; 6) Крымская война 1853–1856 гг.; 7) образование Румынии -1859 г.; 8) война Австрии с Италией и Францией – 1858–1859 гг.; 9) национальное движение в Италии за ее объединение – 1859–1870 гг.; 10) национальное движение в Германии за ее объединение -1862-1870 гг.; 11) гражданская война в Соединенных Штатах Северной Америки – 1861–1865 гг.; 12) восстание Герцеговины – 1861 г.; 13) война Пруссии и Австрии против Дании – 1864 г.; 14) война Австрии и южно-германских государств с Пруссией и Италией – 1866 г.; 15) освобождение Сербии – 1867 г.; 16) франко-прусская война 1870–1871 гг.; 17) революция в Париже, Парижская коммуна и ее подавление – 1870–1871 гг.; 18) образование Германской империи -1870-1871 гг.<sup>50</sup>.

А вот периоды понижательных волн, будь то первого цикла или второго, намного беднее событиями. Во втором таких событий четыре: восстание в Герцеговине против Турции 1875 г.; русско-турецкая война 1877–1878 гг.; начало раздела Африки; образование единой Болгарии в 1885 г. В первом – пять: революционные движения в Испании 1812–1820 гг. и в Италии 1820–1823 гг.; война с Турцией 1828–1829 гг.; польская революция во Франции 1830 г. и ее рецидивы в Париже и Лионе в 1830–1834 гг. и движение чартистов в Англии в 1838–1848 гг. И все. Получается, что две понижательных волны в два раза менее насыщены событиями, чем одна повышательная волна, будь то второго цикла (18 событий по Кондратьеву) или первого цикла (тоже 18 событий). Таким образом, «длинны пятидесятих», «капиталисте» годы Маркса – это не только экономический, но и международно-политический бум. Конец 1840-х – это переход от «спячки» в международных делах к буму.

Опять перелом и водораздел.

Переломный характер эпохи формирования идей Маркса не ограничивается и «кондратьевским измерением». Есть еще одно, которым я хочу закончить анализ эпохи Маркса. Речь – о самом конкретном и приземленном: о быте, повседневной жизни, структурах повседневности. И с этой точки зрения 1830-1840-е или даже просто 1840-е годы оказываются хронозоной, разделяющей целые эпохи.

<sup>48</sup> Кондратьев Н.Д. Указ. соч. – С.203.

<sup>49</sup> Там же.-С. 203, 199,205,207.

<sup>50</sup> Там же. – С.203.

Д. Норт однажды заметил, что если бы древний грек оказался «перенесенным» в 1750 г., то в целом, за исключением огнестрельного оружия и нескольких «мелочей», мир показался бы ему знакомым: аграрный ландшафт, ручной труд, спокойный ритм жизни, лошадь – как основное средство передвижения по суше и т. д.<sup>51</sup> Если вспомнить, что Западная Европа лишь в 1720-1730-е годы восстановила уровень продуктивности сельского хозяйства, достигнутый в XII–XIII вв., а этот последний, в свою очередь, лишь повторял достижения I–II вв. н. э., утраченные на целое тысячелетие, то мнение Норта покажется еще более обоснованным.

А вот если бы древний грек появился в Европе в 1850 г., продолжает свою мысль Норт, то он столкнулся бы с «ирреальным», незнакомым и чужим ему миром. Промышленная революция, считает экономист, заложила фундамент для радикального изменения производства, производственного ландшафта и быта между 1750 и 1830 гг. Сами изменения произошли в 1840-1850-е годы, «материализовались» в росте населения и городов, утрате сельским хозяйством и ручным трудом доминирующих позиций, в превращении постоянных технических изменений в норму, наконец, в достижении Западом, точнее, значительной и все более расширяющейся частью его населения, такого уровня жизни, материального («предметно-вещественного») благосостояния, которое в других обществах было недоступно даже самым богатым<sup>52</sup>.

Иными словами, бытовой компонент промышленной революции, запоздавший, как это всегда бывает с бытовыми компонентами, на несколько десятилетий по сравнению с производственным, реализовался в середине XIX в. Причем внешне это произошло стремительно, в течение одного десятилетия или даже меньше, произошло прежде всего в Англии, а затем, тоже довольно быстро, на «континенте».

Еще в 1842 г., как это видно из подшивок «*Illustrated London news*» – журнала тех времен, Англия была сельской страной, страной сельского быта. Номера журнала конца 1840-х, показывают нам совсем другую страну – Англию машин и железных дорог. Последние, и вообще революция в транспорте и коммуникациях, сыграли особенно большую роль. Если в начале 1840-х годов Англия была страной, части (графства) которой были плохо и трудно связаны друг с другом, то в 1848 г. в ней было 2 тысячи миль общественного электрического телеграфа, отделения которого были открыты круглосуточно. «*Penny Post*», организованная Р. Хиллом в 1840 г., привела к тому, что объем доставки писем в 1843 г. составил 4 млн. (1840 г. – 1,5 млн.). Переписка из занятия состоятельных людей превратилась в массовое достояние, а страна оказалась намного лучше и плотнее связана внутренне. Революционные изменения в средствах коммуникации (в широком смысле слова) видны и по прессе: в 1815 г. «*Times*» выходила тиражом в 5 тыс. экз., в 1850 – 70 тыс.<sup>53</sup> Неудивительно, что хотя еще в 1840 г. для Англии было характерно провинциальное мировоззрение, к 1850 г. мировоззрение стало национальным<sup>54</sup>, и это совпало с обретением Британией мировой роли. Вообще нужно сказать, что в современном мире национальный и мировой уровни тесно связаны, противостоя уровню локальному и (макро)региональному. Великобритания рубежа 1840-1850-х годов подтверждает эту связь, корреляцию. Да и другие страны тоже.

Итак, транспорт, телеграф, современная почта, технические новинки в быту – вот что разделяет и отличает друг от друга эпохи «молодого Маркса» (не путать с «ранним Марксом» – это другое) и «зрелого Маркса». Приехав в Лондон в августе 1849 г., Маркс попал в Англию в канун новой эпохи – викторианской, с корабля – на бал Истории. Как заметил Дж. Доде, строго говоря, 1840-е годы не были еще «викторианской Англией», они представляли собой смесь

<sup>51</sup> North D.C. Structure and change in economic history. – N.Y.: W.W. Norton, 1981. – P.158.

<sup>52</sup> North D.C. Op.cit. – P.159.

<sup>53</sup> Bairoch P. Victories et debaies. Histoire economique et sociale du monde du XVI<sup>e</sup> siecle a nos jours. – P.: Gallimard, 1997. – Vol. II. – P.35.

<sup>54</sup> Bryant A. English saga (1840–1940). – L.: Albatros, 1947. – P. 79, 82–83.

анахронизмов и нового; это было довольно трудное время, которое так и называли: «голодные сороковые», «тревожные сороковые»<sup>55</sup> (несмотря на все тревоги, однако, Англия не скатилась в революцию, а вот Франция, демонстрировавшая в 1840–1847 гг. исключительную политическую стабильность<sup>56</sup>, «рванула» в начале 1848 г. своей «февральской» революцией).

1850-е, резко отличаясь от 1840-х в лучшую сторону, пришли как «delayed gratitude» и получили название «сказочных», «начала Золотого века». Воротами в «Золотой век» и одновременно символом его наступления, разделившим не только десятилетия, но и целые эпохи, стала Всемирная выставка 1851 г. в Лондоне, точнее открытие 1 мая 1851 г. Chrystal Palace королевой Викторией. По сути это и было началом «викторианской эпохи», Лондон превратился если не в центр мироздания, то в центр мира, а индивидуальное и общественное благосостояние стало быстро расти, и даже сторонник республиканцев в 1848 г. Тэкерей стал петь оды существующему строю<sup>57</sup>. Уже к 1852 г. в Банке Англии было так много денег, как никогда (США и Австралия благодаря вновь открытому золоту резко увеличили закупки английских товаров)<sup>58</sup>. И это еще более толкало вперед и бытовые изменения, и благосостояние. Но Маркс словно не замечал этого, он ждал другого, а потому и перереагировал на кризис 1857 г., придав ему такое значение и такие масштабы, которых тот не имел, и, напротив, недооценил кризис 1873 г.

Подводя итоги, можно сказать следующее. Теория Маркса, «марксизм» возникли на водоразделе, переломе сразу нескольких эпох, перехода: от предкапиталистического – к капиталистическому, от традиционного – к современному (как в хозяйстве, так и в логике), от революционной эпохи – к эпохе стабильности; от периода экономического спада – к периоду экономического подъема; наконец, от локально-региональной Европы – к мировому Западу; от истории, в лучшем случае, макрорегиональной – к истории всемирной. С этой точки зрения теория Маркса в рамках каждой дихотомии принадлежит отчасти обоим ее элементам, находится по обе стороны перелома, водораздела, кризиса.

В этом смысле социально-историческая теория Маркса – кризисная, она не принадлежит полностью ни одной эпохе по отдельности, но – перелому, разрыву-соединению между ними, вывихнутому времени, тому самому, которое is out of joint.

Хорошо это или плохо? Не хорошо и ни плохо – это так есть, и в этом, как и во всем, свои плюсы и минусы: every acquisition is a loss, and every loss is an acquisition. Но как все же в таких обстоятельствах характеризовать теорию Маркса? Что это? Локальная европейская теория, отразившая выход европейского общества за европейские рамки и наступление мировой капиталистической эпохи? Или мировая теория капиталистического общества, в которой преломились проблемы локального опыта западноевропейского развития? Теория революционной эпохи, «опрокинутая» на послереволюционный мир («революционный марксизм»), или теория стабильного капиталистического развития, лишь развернутая под революционным углом («научный марксизм»? Однако прежде чем отвечать на эти и подобные вопросы, надо взглянуть на марксизм как на идеологию, ведь теория Маркса при всей ее научности была элементом некоего идеологического дискурса. Ее характеристика невозможна без понимания того, чем был этот идеологический дискурс, чем отличался от других идеологий, тем более что все современные идеологии порождены и пропитаны эпохой, о которой мы только что закончили говорить.

<sup>55</sup> Dodds W. The age of paradox: a biography of England, 1841–1851. – L.: Victor Gollancz, 1953. – P. 5, 486.

<sup>56</sup> Tulard T. Les revolutions: de 1789 a 1851. – P.: Fayard, 1985. – P.447.

<sup>57</sup> Thompson P. England in the nineteenth century, 1815–1914. – L.: Penguin books, 1977. – P.100.

<sup>58</sup> Bryant A. Op.cit. – P.103.

## **5. Феномен идеологии и европейская реальность революционной (1789–1848) эпохи**

Современность (Modernity) была насквозь идеологизированной эпохой. Она такой уродилась. Идеология – «фирменный знак», изоморфа Современности. До такой степени, что мы себе не можем представить без- и внеидеологического сознания и бытия. До такой степени, что любую систему идей, любую «идейно-политическую форму», будь то светская или религиозная, отождествляем с идеологией, квалифицируем как ту или иную идеологию.

Поэтому в один ряд попадают «либеральная идеология» и «идеология национализма», «христианская идеология» и «идеология ислама», «идеология империалистического разбоя» и «шовинистическая идеология», «марксистско-ленинская идеология» и «идеология великодержавности», «идеология национально-освободительного движения» и «идеология апартеида» и т. д.

Ясно, однако, что во всех этих случаях термин «идеология» употребляется в различных, порой несопоставимых смыслах; в этот термин вкладывается принципиально различное содержание. В результате термин «идеология» становится столь широким и всеобъемлющим, что лишается не только специфически научного, но и практического смысла: под «исламской идеологией», «шовинистической идеологией» и «либеральной идеологией» скрываются столь разные, качественно несопоставимые сущности, что употребление по отношению к ним одного и того же термина «идеология» превращает последний в поверхностную метафору. Все оказывается идеологией: бытовые представления – «идеология», и светские идеи – «идеология», и религиозные представления – «идеология». Но в таком случае, зачем термин «идеология» – есть «здоровый смысл», есть «религия», есть... Нет термина для светских идей, выходящих за узкие рамки здравого смысла и тесно связанных с некими политическими целями. Последние не только предполагают наличие политики, отсутствующей как явление в докапиталистических обществах, и принятие обществом идеи развития как поступательного, прогрессивного развития, что опять-таки характерно только для капитализма.

Действительно, в докапиталистические эпохи и в докапиталистических обществах ни о какой идеологии не слышали, в ней не было нужды: и угнетатели и угнетенные артикулировали свои проблемы на религиозном языке в разных его вариантах («господская религия – народная религия», «большая традиция – малая традиция»). «Цель» угнетенных была естественной: как правило – возвращение в прошлое, в «Золотой век», когда господа уважали «моральную экономику» крестьянина. Несколько сложнее обстояло дело в христианском средневековом социуме с его футуристичным катастрофизмом, но и там цели социальных движений формировались на языке религии, обходились ею, поворачивая ее против сильных мира сего. А когда и почему возникла нужда в идеологии? Когда появилось слово «идеология»?

Французский словарь «Робер» датирует первое употребление слова «идеология» 1796 г., а слова «идеолог» – 1800 г. «Запустил» термин «идеология» граф А.Л.К. Дестют де Траси. Он разъяснил его 20 июня 1796 г. в докладе «Проект идеологии», прочитанном в Национальном институте наук и искусства, а затем в книге «Элементы идеологии» (1801). Для изобретателя термина идеология означала философскую систему, объектом которой были идеи и законы их формирования. Однако со временем, в 1820-1830-е годы, этот термин стал означать комплекс идей и ценностей, связанных не только и даже не столько с идеями, с «идеальным», а с реальным обществом, с социальными процессами. Интересно, что резко отрицательно к «идеологам», лидером которых был Дестют де Траси, отнеслись Наполеон, а позднее Маркс.

То, что некий термин, некое слово фиксируется определенной датой, не означает, что реальность, отражаемая этим термином, вообще не существовала. Но это также означает, что она возникла сравнительно недавно. И все же – *«вначале было Слово»*.

Только терминологическая фиксация некой реальности превращает ее в социальный факт, в факт общественной жизни, творит ее как таковой. Это ученые не всегда следуют декартовскому правилу: «*Определяйте значение слов*». Общество, как правило, придерживается его и фиксирует новинку – иногда устами ученых мужей, иногда просто с помощью «vox populi».

Стремились ли Дестют де Траси и его коллеги «идеологи» к созданию некой единой и цельной идеологической схемы? Возможно, да. Собственно, контуры некой «единой и неделимой» протоидеологии западного («раннекапиталистического») общества как противостоящей религии проглядывали в Просвещении. В этом смысле «идеология» «идеологов» была, по-видимому, крайней точкой, последней попыткой такую идеологию создать. Не вышло. Через несколько десятилетий вместо одной идеологии возникли целых три: консерватизм, либерализм и социализм. Иными словами, Идеология западного общества капиталистической эпохи оформилась как тримодальное явление. По-видимому, было в сущности и логике капитализма, его развития в начале XIX в. нечто такое, что вызывало в качестве реакции возникновение идеологии/идеологий. Думаю, И. Валлерстайн правильно указал на это почти магическое нечто: изменение.

По мнению Валлерстайна, всемирно-историческое значение Великой французской революции заключалось в том, что после нее и в результате нее изменение (изменения) стало восприниматься как нормальное и неизбежное. Различия касались отношения к этой норме, ее конкретной форме, стремления затормозить или ускорить изменения, однако сам процесс изменений как структурная реальность стал признанным нормальным фактом социальной реальности. *«Это широко распространенное признание и принятие нормальности изменения представляло фундаментальную культурную трансформацию капиталистической мир-экономики»*<sup>59</sup>.

Я бы добавил к тезису Валлерстайна о значении Французской политической революции английскую промышленную революцию, подкрепившую идею нормальности (политических) изменений экономически, производственно. Однако сам тезис представляется мне верным. Проследим за его развитием. Валлерстайн рассматривает идеологию/ идеологии, во-первых, как институт, во-вторых, не изолированно, а в единстве с двумя другими институтами – социальными науками и движениями. Вся эта институциональная триада была результатом Французской революции (включая наполеоновские войны) и реакцией на нее. Нельзя не согласиться с отцом-основателем мир-системного анализа и в том, что идеология – это не просто мировоззрение, не просто *Weltanschauung*, не просто некая интерпретация мира и человека – все это характеризует и религию, и мифологию. Идеология – это такое особое мировоззрение, пишет И. Валлерстайн, которое *«сознательно и коллективно формулируется с сознательными политическими целями... этот особый вид Weltanschauung может быть сконструирован только в ситуации, когда общественный дискурс признал нормальность изменения. Потребность в сознательной формулировке идеологии появляется только тогда, когда верят, что изменение нормально и поэтому полезно сформулировать сознательные среднесрочные политические цели»*<sup>60</sup>. Здесь, однако, следует кое-что добавить.

Во-первых, возможность ставить политические цели есть только там, где существует политическая среда, где сфера политики обособилась, выделилась из социального целого. В Европе (а политика и существовала только в Европе, став «роскошью Европейской цивилизации»<sup>61</sup>) политика предшествует идеологии, возникает раньше ее. Хотя, безусловно, пожалуй, именно идеология окончательно формирует политическое как феномен и институт.

<sup>59</sup> Wallerstein I. The French revolution as a world-historical event // Wallerstein I. Unthinking social science: the limits of nineteenth century paradigms. – Cambridge: Polity press, 1991. – P.15.

<sup>60</sup> Wallerstein I. Op.cit. – P.16.

<sup>61</sup> Выражение Вебер-Шефер.

Во-вторых, представляется, Валлерстайн не вполне точен, когда увязывает идеологию с политическими **целями**. Те цели, о которых он говорит, на самом деле являются **социальными** (социально-экономическими) или, в лучшем случае, социально-политическими. **Политическими** же являются средства достижения этих целей, которые, будучи долгосрочными или среднесрочными, сами могут стать целями или целесредствами для достижения неких целей. Говорил же Ганди, что на самом деле противоречия между целями и средствами нет: средства достижения целей становятся целями – на какое-то время, а то и навсегда, по крайней мере, в политике. Полагаю, что, отождествляя социальные цели с политическими, И. Валлерстайн излишне политизирует проблему идеологии, недооценивая ее социальный аспект. Впрочем, и работы Валлерстайна, и мир-системный анализ – очень политизированы, в чем имеются как свои плюсы, так и минусы. Тем не менее, различие социального и политического – при тесной связи этих измерений – в «системоопределяющих» целях идеологий представляется важным, в том числе и потому, что позволяет увидеть всю сложность явления идеологии; политизация в определении идеологии может примитивизировать последнюю до роли политической дубинки. Разумеется, идеологию можно использовать в качестве такой дубинки, но это не значит, что она является таковой. Равно как и не исчерпывается полностью теми характеристиками, которые предложил Валлерстайн, во многом упростивший, «спрямивший» в своих работах понятие идеологии.

Итак, согласно Валлерстайну, три возникшие в начале XIX в. идеологии – консерватизм, либерализм и марксизм – в самом общем плане отличались друг от друга отношением к изменению и конституировали себя как три различных ответа (и соответствующие им комплексы задач) на проблему изменения, развития. Три возможных ответа на вопрос о неизбежных изменениях таковы:

- 1) отрицательное отношение к изменениям, отсюда стремление затормозить их, подморозить;
- 2) положительное отношение к изменению, но принятие только постепенных изменений, основанных на преемственности;
- 3) положительное отношение к изменению, но неприятие постепенных изменений, а акцентирование революционных изменений, основанных на разрыве преемственности<sup>62</sup>.

Первый ответ – консерватизм, второй – либерализм, третий – марксизм. Валлерстайн подчеркивает, что третья идеология – именно марксизм, а не социализм, поскольку *«со временем единственным видом социалистической мысли, действительно качественно отличавшейся от либерализма как идеологии, был марксизм»*<sup>63</sup>. Повторю еще раз: определение идеологии и трех идеологий на основе их отношения к феномену изменения, развития – это самое общее и грубое приближение к проблеме. Но, говоря о том, что возможны и другие подходы к идеологии – от К. Мангейма и К. Поппера до М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Ю. Хабермаса и А. Зиновьева<sup>64</sup> – отмечу, что консерватизм, либерализм и марксизм имеют много существеннейших отличий, не связанных непосредственно с проблемой развития, а имеющих отношение, например, к разным способам идейного, ценностного отношения к религии, власти, к традициям исторического развития и т. д.

Если не учитывать все эти различия, нюансы и тонкости и сводить все к проблеме развития, то при определенном подходе, как это, кстати и произошло у Валлерстайна, можно полу-

<sup>62</sup> Wallerstein I. The French revolution as a world-historical event... – ПЛ6-17.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Различные интерпретации идеологии и анализ возможных подходов к ее изучению см.: Ansart P. Les ideologies politiques. – P.: PUF, 1974. – 213 p.; Brown L.B. Ideology. – Harmondsworth, 1973. – 208 p.; Dumont F. Les ideologies. – P.: PUF, 1974 – 183 p.; Halle L. The ideological imagination. Ideological conflict in our time and its roots in Hobbes, Rousseau and Marx. – L.: Chatto & Windus, 1972. – XIV, 174 p.; Larrain J. The concept of ideology. – L.: Hutchinson, 1979. – 256; Seliger M. Ideology & politics. – L.: Allen & Unwin, 1976. – 352 p.

чить Вудро Вильсона и Ленина в качестве представителей глобального либерализма – только потому, что оба ставили задачу самоопределения наций и обеспечения национального развития<sup>65</sup>. Но по такой логике к «глобальным либералам» надо добавить Гитлера, разве он был против названных выше задач? Ясно, что гиперэкономизация определения идеологии, будь то консерватизм или либерализм, ведет, в конечном счете, к карикатуре, вульгаризации<sup>66</sup>. Другое дело – учет экономической «переменной» и анализ того, интересы преимущественно каких социально-экономических групп отражает и выражает данная идеология.

Под таким – в большей степени внешним – углом, а также с общеоперациональной точки зрения типология идеологии Валлерстайна вполне может быть использована.

Три идеологических ответа, на феномен изменения/развития, по-видимому, исчерпали число возможных идеологий, институционализируемых в капиталистической мир-экономике XIX в. Действительно: качественно, принципиально различных и несводимых типов отношения к изменению может быть три – отсюда исходно три и только три идеологии. Как тут не поверить, что число правит миром? Да здравствует Пифагор! Однако «три» как число возможных базовых идеологий Современности и тримодальность идеологии как явления вытекают не только из предложенной Валлерстайном перспективы, но и из самой логики развертывания капитализма как системы, капиталистической собственности, о чем будет сказано ниже. Равно как и характеристики идеологий не исчерпываются лишь их отношением к изменению – это было бы слишком прямолинейно и одномерно, too simple to be true. На самом деле, идеология и идеологии – далеко не одномерные явления. Западная система сконструирована таким образом, что индивиды, группы (корпорации) и государство выступают как субъекты. Западное общество – полисубъектное, полисубъектный треугольник, между «углами» которого постоянно идет борьба.

Любые социальные цели, политические средства и их идейные обоснования самым непосредственным образом затрагивают отношения в треугольнике, соотношение сил в нем. Поэтому та или иная идеология должна быть и интерпретацией отношений между субъектными «базовыми единицами» современного общества, особенно между группой (коллективом) и индивидом – пусть по поводу изменений или сквозь призму отношения к этим последним. Ясно, что три идеологии дают (должны давать) разный ответ на этот вопрос. Кроме того, каждая идеология вступала в свои отношения с религией и наукой – двумя другими европейскими формами организации знания, «духовного производства», двумя другими элементами духовной сферы. Но прежде чем говорить об этих отношениях, а они были различными в трех рассматриваемых случаях, необходимо, хотя бы вкратце, остановиться на вопросе о соотношении идеологии, с одной стороны, религии и науки – с другой.

## 6. Религия, наука, идеология

В феодальной Европе, религия (христианство) обладала практически полной монополией на духовную сферу. В связи с этим именно она опосредовала и выражала отношение человека к истине (как божественной, трансцендентной – Вера, так и рациональной – Разум) и представляла (интерпретировала) в духовной сфере в качестве **общей** истины интересы **особых** (господствующих) групп. Поэтому, во-первых, социальные конфликты, борьба угнетенных и господствующих групп (а также внутри этих последних) вплоть до середины XVII в. идейно оформлялись как религиозные; во-вторых, в этом смысле противоборствующие сто-

<sup>65</sup> См.: Wallerstein I. Who excludes whom? Or the collapse of liberalism and dilemmas of antisystemic strategy. – Binghampton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. – 24 p.

<sup>66</sup> В качестве примера невульгаризаторской интеграции либерализма см.: Arblaster A. The rise and the decline of Western liberalism. – Oxford: Blackwell, 1984. – XII, 394 p.

роны говорили на одном языке, использовали одно и то же идейное оружие, а именно религию, христианство. Пусть с модификациями: ересь – ортодоксия, католицизм – народный католицизм (так, в народном католицизме история рождения Христа была принята, а идея первородного греха, в которой угадывается обоснование неравенства и эксплуатации, – нет)<sup>67</sup>, но, тем не менее, идейная система была одной и той же. В этом, помимо прочего, находило отражение то, что под определенным углом зрения социальная структура и «композиция» господствующего класса были относительно просты. Господами были землевладельцы, организованные в иерархию. Если принципом раннего средневековья, раннего, незрелого феодализма был лозунгом «*Nulle seigneur sans homme*», то принципом зрелого и позднего феодализма, феодализма как такового было «*Nulle terre sans seigneur*». И все было ясно. При неполном совпадении богатства и знатности, при обилии локальных и промежуточных групп и подгрупп, особых статусов и т. д. и т. п., делавших картину социальной структуры средневекового общества внешне очень сложной и мозаичной, все же в целом она была ясной, и это облегчало «социальный разговор» на одном языке, хотя и на различных социально-религиозных диалектах. Иными словами, в докапиталистическом западном обществе, на ранней (феодальной) стадии Европейской цивилизации религия выступала как идейная система, выражавшая Истину и Интерес (а до конца XIII в. Веру и Разум) в качестве единого и слабо дифференцированного комплекса (ситуацию в религиозных неевропейских системах я оставляю в стороне – в силу специфики это особый разговор, для которого здесь и сейчас нет места).

Реформация, генезис капитализма (Великая капиталистическая революция 1517–1648 гг. и особенно ее финальная фаза – Тридцатилетняя война) привел (в ходе и посредством раскола как господствующего, так и угнетенного класса при все более активной и самостоятельной роли бюргерства в качестве третьего элемента, ломающего «бинарную оппозицию») к тому, что идейное выражение Веры (истины божественной), Разума (истины рациональной) и Интереса стало постепенно принимать идейно и институционально различные и дифференцированные формы. И хотя социальные и политические конфликты XVI – первой половины XVII в. выяснялись, а интересы артикулировались на языке религии, тенденция к взаимообособлению и обособленному представлению Веры, Разума и Интереса наметилась. Эпоха религиозных войн более или менее плавно перетекла в эпоху войн национальных государств, к формированию которых объективно и привели – прав К. Шмитт – религиозные войны. «Национализация» религии, т. е. обуживание, парциализация последней, обособление политики от религии, и морали от политики – вот одна из линий раскола прежней идейной целостности, и без этого, кстати, тоже не понять многое в идеологиях XIX в.

Научную революцию XVII в. следует рассматривать не столько как узконаучное событие (конкретные открытия), сколько как идейно-мировоззренческое (новые методы как следствие нового взгляда на мир, нового подхода к нему) и макросоциальное (превращение науки из «двумерной» – стиль мышления, тип деятельности – в трехмерную, в социальный институт, т. е. рождение науки как таковой, как особой, наряду с философией, схоластикой и т. д. формой организации позитивного и рационального знания). Хотя явное и фиксированное противостояние Веры и Разума началось с 1277 г. (запрет 219 «вредных доктрин», пытавшихся примирить Веру и Разум), институционально это противостояние было оформлено в ходе и посредством научной революции.

Если наука как институт оформилась в XVII–XVIII вв., то возникновение и оформление идеологии произошло позже. Даже если признать Просвещение несостоявшейся единой светской рациональной протоидеологией («единая» идеология, в отличие от «единых» религии и науки, невозможна), то придется констатировать 100-150-летнее запаздывание.

<sup>67</sup> Scott J. Protest and profanation: agrarian revolt and little tradition// Theory a. society. – Amsterdam, 1977. – Vol.4, № 1. – P.26.

Ну а если говорить об идеологии как тримодальном явлении, то здесь «срока» увеличатся до 200–250 лет.

В любом случае, в так называемую «раннекапиталистическую» («раннесовременную» – early modern, как не очень удачно выражаются на Западе) эпоху наметился раскол единого идейноинституционального христианского комплекса на три отдельные сферы, каждая из которых стала особой формой отношения к реальности и представления истины как «сгущенной», «сконденсированной» реальности. Любая идейная система есть отношение к реальности, представленной в идейноупорядоченном виде, т. е. как истина и ценность. В этом смысле любое отношение к реальности есть отношение к истине (реальности-как-истине) и ценностям или ценностное отношение (либо на рациональной, либо на иррациональной основе), по крайней мере, в Капиталистической системе. Эти сферы суть: 1) собственно религии (отношение «субъект – Бог», «субъект – абсолют», «субъект – дух как божественная, трансцендентная истина»; это комплекс отношения, основанный на Вере); 2) наука (отношение «субъект – истина», освобождение от веры и, строящееся на рациональной основе, как самодостаточной теоретически – «субъект – понятие»); 3) идеология (отношение «субъект – истина», выраженное секулярно и пропущенное сквозь призму особых социальных интересов; отношение «субъект – интерес» особой группы, в котором интерес данной группы представлен как универсальная истина и всеобщее благо).

Религия и наука, будучи диаметрально противоположны по принципам, целям и основам знания (вера и разум), схожи друг с другом как всеобщие (универсальные) и содержательные системы знания. И религия, и наука стремятся к Истине в качестве субстанции, противостоящей обществу в целом. Другое дело, что **использоваться** религия и наука могут в интересах отдельных классов, групп, корпораций, могут выполнять и такую функцию, однако, в данном случае, во-первых, вступает в противоречие с субстанцией; во-вторых, может быть направлена против тех, кто **таким образом** использует религию и науку. С точки зрения функционально-частного, а не содержательно-общего использования наука и религия суть опасные и обоюдоострые средства.

Идеология, в отличие от религии и науки, есть частное и функциональное знание: частное – поскольку оно ищет и отражает истину, противостоящую не обществу в целом, не человеку вообще, но особой группе; функциональное – поскольку само содержание знания определяется интересами и в интересах особой социальной группы, т. е. является их социальной функцией. Повторю: религия и наука как всеобщие (универсальные) и содержательные формы знания могут использоваться и интерпретироваться в особых, групповых социальных интересах, однако это есть акт, нарушающий имманентные цели и суть религии и науки. Идеология же по своей социальной природе и целям есть форма идей, исходно ориентированная на специфическое, обусловленное особыми интересами отношение к реальности-как-истине, на искажение и отрицание этого отношения как универсального и содержательного, на ограничение истины, т. е. на ее функционализацию, прав Л. Фойер, который считает, что для идеологии, в отличие от науки, нет объективной истины, поскольку идеология связана с интересами<sup>68</sup>. Правда марксизм всегда претендовал на знание объективной истины, но марксизм в отличие от консерватизма и либерализма, провозгласил себя научной идеологией, что, как мы увидим, стало его силой и слабостью одновременно.

Будучи отрицанием одновременно и религии, и науки и стремясь объективно вытеснить их, подменив собой, идеология никогда не может и не сможет этого сделать ввиду тех имманентных ограничений, которые налагает на нее ее социальная и гносеологическая природа и которые проявляются в неразрешимом противоречии между исходной социопознавательной специфичностью и функциональностью, с одной стороны, и стремлением представить их как

<sup>68</sup> Feyer L. Ideology a. the ideologist. – Oxford: Blackwell, 1975. -P.181.

социальную всеобщность и содержательность – с другой, между претензией на представление классово ограниченной реальности как социально всеобщей истины и отсутствием содержательной и универсальной основы для этого.

Снять это противоречие, функционально компенсировать имманентно незавершенный характер идеологии относительно реальности и истины призвано использование идеологией элементов как науки, так и религии. Секулярные, рациональные, научные элементы компенсируют незавершенность идеологии с рациональной точки зрения, религиозные же дополняют идеологию там, где она «незавершена» религиозно/иррационально. Поэтому, хотя своим функциональным характером идеология адекватна промышленному капитализму с несовпадением функциональных и субстанциональных аспектов его бытия, в результате чего резко усиливается автономия идеологии; хотя именно идеология выражает социальные конфликты мировой капиталистической системы в ее зрелом (1848–1968) состоянии и сменяет в этом качестве религию как идейную форму социальных конфликтов периода генезиса и ранней стадии капитализма (XVI–XVIII вв.); хотя именно идеология выступает как средство критики религии, несмотря на все это, идеология, будучи частичным секулярным знанием, не только никогда не может избавиться от религиозных, иррациональных элементов, но даже сама изобретает и внедряет их, чтобы избежать самоубийственной для нее, чистой секулярности и рациональности (культ Высшего Существа у якобинцев, языческие элементы культа Вождя и культа мертвых у большевиков и т. п.). В ситуации полной чистоты и ясности идеология оказывается в положении «голового короля» – становятся видны все или почти все ее, скажем так, неадекватности; частичная и функциональная рациональность оборачивается целостной субстанциональной нерациональностью или даже иррациональностью, бесстрастный лик Общей Истины превращается в хищный оскал Группового Интереса; и идеология выталкивается в неблагоприятную позицию по отношению к содержательным в своей всеобщности и всеобщим в своей содержательности формам знания. В то же время в той или иной степени (в разных идеологиях – разной и по-разному) идеология, по определению, являясь светской формой, должна акцентировать рациональность, научность и потому, что частично-функциональное представление реальности, «частично-функциональная» истина либо таит в себе опасность иррационального, либо даже может выглядеть иррационально.

В своем реальном функционировании идеология выступает как рациональное отношение к реальности, ограниченной как истина отдельной социальной группы; выступает она в более или менее ограниченном единстве с элементами религии (веры, всеобще-иррационального знания) и науки (разума, всеобще-рационального знания), а потому идеология – это социально (или классово) ограниченное рациональное знание или функциональное знание. Знание, в котором социальная функция доминирует над реальным содержанием и искажает его в определенных интересах. Идеология – это ни в коем случае не просто комбинация науки и религии, их элементов – это такое идейное единство, в котором частное, социально ограниченное, а потому функциональное знание воспроизводит себя посредством использования всеобщих содержательных форм и господства над ними. Поэтому даже в самой «научной» идеологии идеология, т. е. конденсированный особый социальный интерес, всегда будет господствовать над универсальным рациональным знанием, направлять и определять его; социальная функция будет всегда определять понятийное содержание, «разжижать» или даже подменять его; господство частного рационального (интереса, знания) над всеобщим рациональным будет ограничивать само рациональное и ставить предел на пути рационального и реального понимания мира. При этом чем больше и сильнее научные претензии идеологии, тем внешне она респектабельнее, современнее, но тем более она уязвима внутренне, тем легче противопоставить ей ее же научный «сегмент».

## 7. Система идеологий и капитализм как система

Как известно и как уже говорилось выше, идеология (Идеология) возникла как тримодальное явление, как три идеологии, в отличие, например, от христианства, которое изначально было моносистемой и лишь в ходе дальнейшей длительной эволюции дробилось и ветвилось. И. Валлерстайн убедительно показал, как и почему идеологий могло и должно было быть именно три, – в соответствии с отношением к изменению, с возможными позициями по поводу изменения-развития. Таких позиций действительно может быть только три. Но не только по логически-цифровой, «пифагорейской» причине, которую привел Валлерстайн и которая определяется феноменом изменения, а еще и по другой, более глубокой причине. Последняя связана не с объектом реагирования, а с субъектом, и задача ее понимания требует продолжить аналитический путь с того места, где Валлерстайн, к сожалению, остановился.

Идеология как особая форма выражения социальных интересов зрелого (промышленного, формационного) капиталистического общества не может существовать в единственном числе в соответствии с сутью, законами развития капиталистической собственности, а не только по логике реакции на ставший неизбежным факт изменения – последнее носит в большей степени внешний характер, а потому очевиднее и легче фиксируется эмпирически, тем более что мир-системный анализ фиксирует прежде всего более или менее внешние пласты бытия капиталистической системы.

Как писал В.В. Крылов, лишь в действительном процессе производства капиталу, который функционирует в качестве производительного, принадлежат непосредственно все прочие факторы труда, а не только овеществленный труд. Как только процесс труда кончается, *«вне активно осуществляющегося процесса производства капитал уже не покрывает собой все элементы и факторы совокупного процесса производства»*<sup>69</sup>. Действительно, природные факторы принадлежат землевладельцам (частным или государству), рабочая сила – наемным работникам, социальные факторы производства – тем, кто организует разделение и комбинацию труда, а именно государству в лице бюрократии; духовные формы производства принадлежат особым корпорациям в виде институтов, университетов. Таким образом, делает вывод Крылов, вне действительного процесса труда, т. е. как совокупный процесс производства, система отношений капиталистической собственности оказывается шире, чем капитал сам по себе, хотя он и конституирует всю эту систему элементов<sup>70</sup>. Исходя из своего анализа капитала, капиталистической собственности, В.В. Крылов показал, почему и как капитал разветвляется в многоукладную систему, почему и как капитал не является и не может являться одной-единственной формой капиталистической собственности, отсюда – мировая капиталистическая система как многоукладная, включая «некапитализм(ы)» и антикапитализм.

Но тот же анализ В.В. Крылова показывает, почему и как при капитализме невозможен один-единственный господствующий класс или одна-единственная господствующая группа, как, например, феодалы при феодализме или рабовладельцы при антично-рабовладельческом строе. Если оставить в стороне бюрократию как персонификатора функции капитала, то, по субстанциональной линии, господствующих групп в зрелом капиталистическом обществе должно быть как минимум две: те, чьей основой являются действительный процесс труда (производства) и прибыль, и те, чьей основой являются природные факторы производства и рента, являющиеся, однако, не пережитком докапиталистического строя, а выступающие интеграль-

---

<sup>69</sup> Крылов В.В. О логическом развертывании понятия «капитал» в понятие многоукладной структуры капиталистической системы отношений // Крылов В.В. Теория формаций. – М.: Изд. фирма «Вост. лит.», 1997. – С.58.

<sup>70</sup> Там же. – С. 58–59.

ным элементом самого капитализма. Я уже не говорю о представителях торгового, а позднее – финансового капитала.

Несводимость капиталистической собственности к капиталу объясняет целый ряд «странностей» капитализма и буржуазии. Например, тот факт, что буржуазия всегда стремилась не столько буржуазифицироваться, сколько аристократизироваться. И дело здесь не в том, что граф де Ла Фер привлекательнее господина Журдена. Дело в том, что только вкладывая средства в землю и стремясь таким образом получать часть прибыли от своего капитала, как от ренты, т. е. прибыли, связанной с монополией, исключаящей или минимизирующей капиталистическую конкуренцию, капиталист может относительно обезопасить свое будущее и будущее своих детей от колебаний рынка, от взлетов и падений прибыли, от рынка и **в этом** смысле – от капитализма<sup>71</sup>.

Сам по себе капитал обеспечивает только настоящее, поскольку именно в нем протекает действительный процесс производства, в нем куется прибыль, тесно связанная с конкуренцией. Будущее обеспечивается вложением в прошлое – в землю, в недвижимость, владение которыми монопольно и подрывает конкуренцию. В этом, помимо прочего, заключается и причина того, что буржуазия (даже) в ядре капиталистической системы не создала собственного социального и культурного идеала, а заимствовала таковой у аристократии, т. е. подчинилась социокультурному идеалу того слоя, с которым по идее должна была бороться или, скажем мягче, сталкиваться во всех сферах, включая культуру и ценности. Даже в Англии, на родине промышленной революции, социальным идеалом в XIX в. (да и в XX тоже) был не буржуа-фабрикант-капиталист, а джентльмен, сельский сквайр. Как заметил М.Дж. Винер, идеалом британского образа жизни являются спокойствие, стабильность, традиции, тесная связь с прошлым, преемственность с ним<sup>72</sup>.

Не случайно в Англии говорят о «джентрификации буржуазии». Не все просто и с социальным идеалом в континентальной Европе: ни во Франции, ни в Германии буржуа им не является.

Крыловский анализ показывает, что капитализм, будучи единством капитала и некапиталистических форм собственности, есть «борьба и единство противоположностей» монополии и рынка, ренты и прибыли. Это, в свою очередь, раскрывает смысл броделевской фразы: «*Капитализм – враг рынка*», – которая вне анализа капиталистической собственности остается лишь красивым французским парадоксом, mot, еще одним артефактом французской интеллектуальной культуры.

Разумеется, нельзя излишне жестко противопоставлять господствующие интересы, группы и классы капиталистической системы по линии «прибыль – рента», реальность сложнее, чистых типов нет, большинство обладателей прибыли стремятся подстраховаться рентально. И все же. Поскольку это получается не у всех и не у всех в равной степени, поскольку различные виды деятельности тяготеют в большей степени либо к рынку (прибыль), либо к монополии (рента), наконец, поскольку с ростом «капиталистической мир-экономики» росло, расширялось ее европейское ядро, что особенно на первых порах усиливало его социальную и экономическую (укладную) неоднородность, выделяются два основных типа деятельности и отвечающие им комплексы интересов – с соответствующим отношением к изменению, за которым скрывается и сутью которого является действительный процесс труда в рамках совокупного процесса производства капиталистического общества.

<sup>71</sup> Подр. см.: Wallerstein I. The bourgeois(ie) as concept and reality // New Left Review.-L., 1988, № 167. – P. 91–105.

<sup>72</sup> Wiener M.J. English culture and the decline of industrial spirit, 1850–1980. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 1981. – P. 3–4.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.